

ISSN 0130 38

049150251
20221145133

ЛИТЕРАТУРНА ГРУЗИЯ

5

1984

10.335/
1984/3



10.335/
1984/3

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| ТЕЙМУРАЗ ДЖАНГУЛАШВИЛИ. Стихи. Перевод Николая Лятошинского и Михаи- ла Елигулашвили | 3 |
| ВАДИМ ШКОДА. Стихи | 8 |
| ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ. Одолей алчность свою. Роман. Продолжение. Перевод Камиллы Коринтэли | 9 |
| ГУРАМ ДОЧАНАШВИЛИ. Ватер/по/лоо, или Вос- становительные работы. Фантастическая по- весть. Окончание. Перевод Маргариты Гржендзица | 71 |
| ЛЕВАН ГОТУА. Печаль Крцаниси. Рассказ. Пе- ревод Виктории Зининой | 132 |

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| ЭДУАРД ЕЛИГУЛАШВИЛИ. Возвращение к Тинатин | 149 |
| ГУРАМ БАТИАШВИЛИ. Дар драматурга | 164 |

5

1984



| | | |
|--|-----------|------------|
| ЮРИЙ СУКИАСОВ. Надо помнить! | | 177 |
| Т. ТИМИН. Ей было девятнадцать... | | 183 |

ПУБЛИЦИСТИКА

| | | |
|---|-----------|------------|
| ГАЛАКТИОН ПАЙЧАДЗЕ. Плечом к плечу | | 190 |
|---|-----------|------------|

РЕЦЕНЗИИ

| | | |
|--|------------|------------|
| РАФАИЛ ШАМЕЛАШВИЛИ. «Общее языкознание» | 197 | |
| ИГОРЬ НАХШОН. Глоток истины | | 201 |

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| РЕВАЗ МАРГИАНИ. Рядом с Тицианом | | 204 |
| НИНА ТАБИДЗЕ. Радуга. Тициан Табидзе и его друзья | | 206 |
| ХРОНИКА | | 173, 224 |

Известному грузинскому по-
эту-фронтовику Теймуразу
Джангулашвили исполнилось
60 лет.

Редакция журнала «Литера-
турная Грузия» сердечно позд-
равляет юбиляра и желает
ему новых творческих успе-
хов.

Теймураз ДЖАНГУЛАШВИЛИ

ПЛАЧ ЛОЗЫ

Ты слышал, как плачет весной лоза,
как плач ее музыкой нежной струится?
Не этого ль плача живая слеза,
как иней, в твоих волосах серебрится?
Тот голос ни с чем несравненный узнать
не каждый сумеет,
сумеет лишь тот,
кто жизнью лозы будет жить и страдать
и боль ее
болью своей назовет.
Ты должен познать виноградника нрав,
земли и природы нелегкий язык,
услышать дыханье деревьев и трав,
биение сердца цветущей лозы;
ты будь виноградарем тем, что весной
души своей луг вышивает лозой.
но если ты плача лозы не постиг —
о, сколько ты в жизни своей упустил!
И кто бы ни плакал — мне больно вдвойне,
лишь слезы лозы я улыбкой встречаю,
любовь и надежду несут они мне
и землю вокруг добротой согревают.
Бесценным слезам этим рад я всегда,
я знаю, что их высыхание значит,
и радуюсь плачу лозы, но когда

О, не дай бог мне тихо вниз спускаться,
не распахнуть зари грядущей дверь...
Но волосы все больше серебрятся.
часы стучат и приближают смерть.
Но мы и смертью сможем древу жизни
прибавить сил и корни укрепить,
чтоб землю нашей солнечной Отчизны
могло могучей кроной осенить.
...и если старость в двери постучалась,
так отчего же рвется из груди:
еще не вечер, чтоб уже смеркалось,
еще не время солнцу заходить!
Но что же делать — время ускользает,
а пламя сердца так же горячо,
и струны чанги ту же песнь играют...
О, слитки строчек полыхнут еще!
Не подчиняйся отголоскам боли,
уверенно иди дорогой дней,
срывай цветы — в своем саду и в поле,
и ветки света почками усей!
Встречай улыбкой неба синь и ветер.
безмолвье гор, многоголосье трав;
жизнь вечна, и в ее горячем свете
ты песней память о себе оставь!

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАШЕПТАННОЕ НОЧЬЮ НА БАЛКОНЕ В САГАРЕДЖО

В ночной тиши я слышу клич лягушек,
сверчки приладили свои смычки.
Но чем привычный ритм ночной нарушен? —
куда же подевались светлячки?..
Тебе не спится в эту ночь, я знаю,
впитал Тбилиси августовский зной,
машин дыханье, скрежет, звон трамваев
ты слушаешь,
но нет тебя со мной...
Сияет золото, разлитое луной,
и глаз твоих искристых блеск в ночи,
как вспышки светлячков передо мной.

Куда же подевались светлячки?
Траву росую утро успокоит...
Вокруг — асфальта черные зрачки.
О, город и сюда достал рукою!
Куда же подевались светлячки?..



Перевод Николая ЛЯТОШИНСКОГО

●
Я не был обделен заботой,
Хотя познал сиротства участь.
Как незаметно и крадучись
Подкрался полдень. Правый боже...

Слова, как почки, чуть чернеют
И распускаются строкою.
Так почему с такой тоскою
Я замечаю — вечереет?!

МОЕМУ ПЕРУ

Как слова совместить, я не знаю, «чужая» и «боль»?
Ведь бывает — от боли своей пред глазами круги,
Но тогда мы имеем право не быть собой,
И себя предать, только не предавать других.

ЧЕСТНОСТЬ

Я все равно назову тебя честным,
Даже если ты честно скажешь,
Что никогда не говорил правды...

Я сказал это так,
С налету,
Не задумываясь о ритме.
Можно ли истину как-нибудь
втиснуть в тесные рамки размера?..
Да пребудет с тобою правда,
боль с тобой да пребудет вечно,
будут зимние ветры веять
или взойдет весеннее солнце...

Скáжете,

 песни не спел великой,
Но ведь писал я правду сурово,
Вырастил в сердце любви гвоздику,
Как сына, лелеял каждое слово.

Скáжете,

 в битвах, в войне, в преисподней
Детство оставил...

 Жаль?

 Не жалею!

Я воевал против войн. И сегодня
Дети в войну лишь играют в аллеях.

Скáжете,

 что счастлив я был своей ролью,
Верил в любовь, и она мне платила
Тем же, и счастьем дарила, и болью...
Слезы... А с ними новые силы.

Что иссякал я на строках талых,
Сердце сжигая, душу распявши,
Вечно истерзанный, вечно усталый,
Но об усталости вечно мечтавший!

Перевод Михаила ЕЛИГУЛАШВИЛИ



ДРУГУ

Т. А. Джангулашвили

В твоём краю, батоно Теймураз,
встречал рассвет я песнею не раз
в кругу веселых, полных сил друзей —
их голоса живут в душе моей.
Когда же затевался разговор,
в мечтах мы воспаряли выше гор.
Все нам казалось легким и простым...
Что ж... Заблужденья юности простим.
Ведь и сейчас, хоть в серебре виски,
порою мы к ошибке так близки.
...Но, в общем, с толком прожиты года.
Был трижды прав мудрейший тамада:
рог — для вина, ночь — всполохам зарниц.
Для верной дружбы нет преград-границ.
Через пространства и десятки лет
несет она свой негасимый свет.
Мой дом — твой дом, входи — я буду рад.
Твой дом — мой дом. Меня в нем встретит брат.
Речь — в мирный день. Для битвы — острый меч...
Мы от беды сумеем уберечь
наш общий дом, и песни, и мечты,
когда едины в главном я и ты!

◆

ИЗ РОВЕСНИКОВ
первым пионером стал Малхаз, и в комсомол первым приняли его.

Он был в девятом классе, когда умер Сталин. Едва закончив школу, он, не спросив отца, снял со стены портрет генералиссимуса.

Вернувшись домой и увидев пустое место вместо портрета, Годердзи не поверил глазам. Остолбнев, с минуту стоял неподвижно, тупо уставившись на стену.

— Ты что же сделал, сынок, как рука у тебя поднялась снять этот портрет? Ведь я всю войну с его именем прошагал! — дрогнувшим голосом спросил он наконец хмуро глядевшего на него сына.

— Отец, надо шагать в ногу с жизнью и не отставать. опережать жизнь можно, но отставать нельзя.

— Ты что, поучаешь меня?

— Не поучаю, советую. Хороший совет всем на пользу, разве не правда?

Продолжение. Начало см. «Литературную Грузию» № 4 за 1984 год.

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

ОДОЛЕЙ АЛЧНОСТЬ СВОЮ

●
Р о м а н
●

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

— Вон отсюда, сопливый мальчишка! — загремел вспыхнувший как порох Годердзи.

Потеряв самообладание, он шагнул было к сыну, чтобы залепить ему оплеуху, но в последний миг сдержался и, тяжело дыша, весь красный от негодования, вышел за порог. Не вышел — выбежал.

«Не так должен был я поступить, — тотчас раскакаясь про себя Годердзи. — Молод он, зелен еще, ни черта не смыслит. Сказано ведь, как аукнется, так и откликнется. Мне бы надо было наставить его, умуразуму научить, по-человечески с ним поговорить. А я наорал, зверем набросился, он, верно, и не понял, за что я его так... Да и чем он виноват, от этого «батьки» все отреклись, что же мальчику-то делать? Вообще-то, если уж правду сказать, Сталин, хотя и войну выиграл, а зла немало натворил... Как знать, может и правы они теперь... А мальчишку я зря отругал... ей-богу, зря...»

Впоследствии Годердзи не раз вспоминал этот случай и много размышлял о нем.

Наутро, когда Годердзи вышел в переднюю комнату, Малхаз сидел за столом и, уткнувшись носом в свою цветастую чашку, пил молоко. Он всегда вовремя вставал и вовремя уходил в школу. Годердзи приблизился к сыну, потрепал по волосам. Потом указательным пальцем приподнял за подбородок его кудлатую голову и заглянул в глаза.

Мальчик не сопротивлялся. Он медленно возвел на Годердзи свои лучистые медовые глаза. Но в глазах этих отец не смог прочесть ту любовь, которой так жаждал. Не нашел он в них и того тепла, которое согревает обычно глаза детей — до поры, пока не черствеют с годами их сердца.

— Отчего ты такой ершистый, паршивец ты этакый, — ласково обратился он к сыну. И вдруг на какой-то миг почва ушла у него из-под ног от странного ощущения, будто не к голове ребенка прикоснулся он, а к собственному обнаженному сердцу.

Малхаз молчал.

— Что тебя беспокоит, сынок? — снова спросил Годердзи и подсел к нему.

— А что должно меня беспокоить? — смело и,

как показалось Годердзи, слегка вызывающе ответил
сын.



— Не знаю, родной, не знаю... потому и спрашиваю... ты уже взрослый... можно сказать — мужчина... Если тебе в чем нужда будет, ты ведь знаешь, мне для тебя ничего не жаль, кто мне дороже тебя?.. Ты мой сегодняшней и завтрашний день!..

Он хотел сказать еще что-то, но внезапно в горле встал какой-то горький ком, и, махнув рукой, он поспешно встал и вышел вон.

Это был первый трудный разговор с сыном. С сыном, которого он оставил таким крохотным и беспомощным и который стал теперь взрослым и отчужденным.

«Наверное, от ума он такой, да и возраст у парня трудный... смягчится со временем, потеплеет сердцем...» — утешал себя Годердзи.

Снятый сыном портрет Сталина он больше не повесил на стенку. Бережно завернул в оберточную бумагу и, зажав под мышкой, унес к себе на службу.

В кабинете долго выбирал место, в конце концов повесил портрет прямо против входной двери, над своим столом.

Сотрудники базы появление портрета встретили по-разному.

Миша с покалеченной на фронте ногой глядел, глядел на него и философски проговорил:

— Эхе-хе, что было и что стало, какой почет имел, а теперь... — он махнул рукой, повернулся и вышел.

Баграт, с утра накачавшийся водки, от удивления насунил брови:

— Слушай, другие снимают, а ты вешаешь? — сказал он, потом примирительно добавил: — Пускай висит, шут с ним, только боюсь я, как бы ты выговор себе не схлопотал, что ли... Знаешь ведь, мы через тебя хлеб едим. Если с тобой что случится, то и нам не поздоровится...

Серго узнал о событии, видно, от своих подначальных. Он вбежал в кабинет, долго, вытянув шею, смотрел на портрет, потом присел на корточки, хватил себя ладонями по ягодицам и воскликнул:

— Вот это да! Ты что наделал?!

— Дуралей, где тебе понять, что это за человек был! — беззлобно отозвался Годердзи и, обернувшись к портрету, с какой-то жалостливой ноткой в голосе сказал: — Пусть себе висит, кому он мешает?

— Пусть висит! — весело согласился вдруг Маджанов. — Только ему красная рама больше подойдет, потому как он красный след после себя оставил...

— Убирайся отсюда! — сверкнув на него глазами, рявкнул Годердзи.

Серго прокричал петухом и с хохотом выбежал из комнаты.

Исак—Исак только глянул исподлобья на портрет и, разом помрачнев, отвел глаза. Посидел молча, нахмуренный, и молча же, не проронив ни звука, встал и вышел.

Лишь на второй день сказал он Годердзи свое слово:

— Жизни поперек дороги не становись, начальник. Потащит она тебя кверху — не противься, потащит в сторону — тоже не противься, в глубину затянет — постарайся вынырнуть, не сумеешь — и тут не противься, на ее милость отдайся. Ежели сопротивляться да упираться станешь, она скорее тебя придушит. Так-то, брат, ей-богу так...

— Эге-ге, сколько же у тебя врагов было, милый человек! — сказал Годердзи портрету, и теперь совсем в ином свете представился ему поступок сына. «Не зря, видно, говорится, что истина устами отроков глаголет», — подумал он.

Но более всего тяготило Годердзи то, что он никак не мог понять, что же думает о нем сын, и любит он в конце концов отца или нет. Много раз пытался он заглянуть в сыновью душу, но Малхаз был таким неразговорчивым и скрытным, что Годердзи слова не мог из него вытянуть, не смог заставить его проявить хоть какое-то чувство. И тем более тяготило это Годердзи потому, что с чужими его сын бывал и весел, и приветлив.

И чем дальше, тем меньше понимали друг друга отец и сын.

Как и следовало ожидать, Малхаз окончил шко-

ду с золотой медалью и собирался поступать в Тбилисский университет. В школе ему больше всего удавались физика и математика, и все ожидали, что он изберет одну из этих наук. Но к общему удивлению он поступил на исторический факультет.

— Послушай, — заговорил с ним однажды после ужина Годердзи, — ты, по-моему, никогда особенно не любил историю, с чего же вдруг пошел на исторический? Что тебя заставило избрать эту науку?

— Видишь ли, отец, не существует плохой и хорошей науки. Любая наука хороша, если можешь ею овладеть. Меня теперь привлекает именно история.

— А ведь говорят, нынче у физики большое будущее... И кадры больше всего там нужны...

— Это тебя, верно, Исак Дандлишвили просвещает?

— Ох, как ты любишь отцу колкости говорить! Почему ты такой... такой... — Годердзи не нашел слова и тяжело вздохнул. — Когда я был в твоём возрасте, я не смел старшим перечить.

— Да уж какой я есть — есть, папа, что делать! Это тоже был не очень-то почтительный ответ. Для юноши его возраста, беседующего с отцом, ответ прозвучал неподобающе. Но Годердзи не стал за этим гнаться. Когда сын называл его «папа» (что случилось крайне редко), Годердзи моментально смягчался, вдобавок в словах, вернее, в голосе сына ему слышалась затаенная боль.

— Я же для тебя говорю, для твоего блага, сыночек, а то мне и твоей матери ни физика не нужна, ни химия.

— А я для своего блага и выбрал, для чего же еще?

— Какое же тут благо, самое большее — станешь учителем истории, вот и все!

— Как это «вот и все»? Руководящие кадры теперь все больше из историков и юристов выбирают.

— Чего, чего?..

— Руководящие кадры, говорю.

Только сейчас понял Годердзи, куда метит его уп-

рямый сын. «Вот, оказывается, чего захотел, ишь ты каков!» — подумал удивленный Годердзи.

Видно, он и впрямь отстал от жизни. Ведь до сих пор он наивно полагал, что руководителей не готовят специально, а сама жизнь их выдвигает, что сперва надо стать хорошим специалистом, а уж если ты проявил талант, способности, тебя повысят и сделают руководителем. А этот уже сейчас мечтает стать руководителем и профессию выбирает соответственную!

Годердзи считал сына простосердечным, наивным отроком, а отрок-то, оказывается, в иных вопросах отца за пояс заткнет. Вот оно как!..

После того Годердзи стал еще пристальнее наблюдать за сыном. Присматривался с подозрением, напоминал, что и как тот сказал или сделал, осмысливал, размышлял....

Он опасался, как бы не упустить в сыне чего-то такого, что впоследствии может дорого обойтись неглупому, но неопытному парню. Однако Малхаз прекрасно во всем разбирался, все делал обдуманно, предусмотрительно. Любое произнесенное им слово и любой его поступок казались заранее выверенными, подготовленными.

Не нравилась Годердзи эта чрезмерная рассудочность Малхаза. Он не мог понять, каким образом и почему сын его оставался свободным от всех страстей и искушений, от промахов и ошибок юности.

Уравновешенный, невозмутимый и хладнокровный был юный Зенклишвили, но за всем этим угадывалась внутренняя настороженность.

«Либо он далеко пойдет, либо уподобится холощеному бычку», — переживал Годердзи, ибо не желал для сына ни того, ни другого.

Когда Малхаза зачислили в университет и родители готовились отправлять его в Тбилиси, Годердзи предложил: «Я поеду с тобой, сниму там тебе комнату и устрою получше».

Но Малхаз наотрез отказался от отцовского предложения. Видимо, и это было у него продумано. «Как все, так и я, — сказал он. — Зачем мне выделяться, отмежевываться от сокурсников и буду жить в общестии».

Никакие уговоры не помогли. Как сказал, так и сделал — поселился в общежитии.

В течение тех долгих пяти лет Малхаз приезжал в Самеба лишь на два летних месяца. Стосковавшиеся по сыну Малало и Годердзи только о том и мечтали, как бы провести с ним побольше времени, но строптивый студент запирался в задней полутемной комнате и целыми днями читал либо писал, не поднимая головы.

Он привозил с собой целый чемодан книг и никому не показывался, пока не выполнял намеченной нормы. Все у него было точно распланировано — и распорядок дня, и последовательность занятий, и книги для прочтения...

— В кого только он пошел, чертов сын, — разводил руками Годердзи. — В нашем роду ни книжника, ни писателя не было. И Шавдатуашвили не были учеными, а этот...

— Охо-хо-хо, какой он прилежный, сколько занимается, сколько трудится, радость мамина! — хвасталась перед соседками Малало. — Все только книжки читает, насилу отрываю его, чтобы хоть поел немного. И откуда у него столько терпения?

— Верно, ученым будет, — качая головами, поддерживали ее женщины.

Когда Малхаз приезжал в Самеба, Годердзи становился беспокойным и раздражительным.

— Не нравится мне его поведение, — часто жаловался Малало потерявший сон супруг. — Молодой парень, а я еще ни разу не видел, чтобы он с девушкой разговаривал. И в городе, оказывается, такой же... точно монах!.. И товарищей-то у него нет! Слыханное ли дело, чтобы человек друзей не имел, да еще в его возрасте!.. Нет, видимо, какое-то несчастье над нами тяготеет...

— Не умеешь ты каркать, Годердзи! Как бы и вправду беды не накликать своей болтовней. Не гневи судьбу... Он пока еще юнец, пока только книги его увлекают. Вот увидишь, он всего добьется. Ты только глянь, какой он у нас красавец, люди налюбоваться на

него не могут... Ты вот говоришь, в городе он точно монах, а у меня другие сведения есть...

— Да брось ты, бога ради, какой он здесь такой и там. Видно птицу по полету, знаешь. Где это слышано, чтобы парень в деревне такой был, а в городе этакий!

— Нет, я знаю, я точно знаю, что у него там на примете одна профессорская дочка. Что же ему делать, не может ведь он со всеми водиться! Да ты посмотри, какой сын у нас вырос!

— Подумаешь, не станет водиться! Тоже мне, князь Мухран-батони нашелся!..

А Малхаз действительно вырос красивым, видным парнем. Высокий, статный, широкоплечий, с такой же могучей, как у отца, шеей и медовыми, как у матери, глазами. Белокожее красивое лицо с черными бровями и спадающий на открытый лоб каштановый чуб придавали такую неповторимость его внешности, что облик его крепко запоминался с первого взгляда.

Походка у него была неторопливая, горделивая, шагал он широко, чуть расставляя ноги, развернув грудь и красиво изогнув шею. Шагал так вольно, свободно, точно знал, что все им любят.

Это тоже не нравилось в сыне Годердзи: «Слишком высоко голову задирает. Люди многое прощают, но кичливость и заносчивость не терпят и не прощают. Такого смелого цыпленка ястреб первым уносит», — задумчиво говаривал он.

Малхаз ни во что не ставил ни отцовские предупреждения, ни материнские просьбы. В деревне он на всех смотрел свысока и ни с кем не знался. Здраваться и то не с каждым здоровался. Смотрел на встречного своими большими медовыми глазами и проходил мимо, даже не кивнув. Вот это больше всего коробило Годердзи, всю жизнь следовавшего завету бабушки Сидонии: «Приветствуй каждого встречного, и старайся приветствовать первым, будь то почтенный старец или малое дитя». Кстати, это было не только бабушкино правило, а исстари почитаемый в народе обычай. Видать, всей старине самобеской конец приходит, коли такие люди пошли, как его сын Малхаз. Одно только — старина ли это, приветливость и учтивость?..

Меж тем за годы, что Малхаз учился в университете, Самеба претерпела огромные изменения.

И село резко изменило свой облик, и люди стали иными.

Все менялось на глазах: дома, улицы, магазины, рестораны, кинотеатры. И все менялись...

Новый секретарь райкома, Вахтанг Петрович, оказался на редкость энергичным и сноровистым руководителем.

Главную улицу Самеба покрыли асфальтом, разбили чудесные скверы, вдоль тротуаров выстроились лампы.

В райкоме и исполкоме Вахтанг Петрович почти поголовно снимал старых работников и назначил новых, преимущественно из молодых. Дня не проходило, чтобы не проводилось какого-нибудь мероприятия. Он то и дело приглашал из Тбилиси корреспондентов газет и радио, писателей-очеркистов, артистов и видных общественных деятелей. Благодаря этому в центральной прессе часто появлялись различные печатные материалы и фотокорреспонденции о жизни Самеба (разумеется, только положительные и хвалебные).

Особенно любил Вахтанг Петрович митинги. Речи произносить он был мастак и не упускал случая выступить перед народом. Доклады и речи писали для него то заведующий отделом агитации и пропаганды райкома, то заведующий отделом культуры райисполкома.

Человек он был хлебосольный, отменный выпивала и красноречивый тамада. Он закатывал такие банкеты, которым позавидовали бы и в Тбилиси.

Вскоре после назначения его первым секретарем он пригласил из столицы архитекторов и художников, которые оформили большой родник, поставили громоздкий и неуклюжий монумент невернувшимся воинам и, наконец, выстроили два роскошных, облицованных мрамором ресторана с дюралевыми рамами дверей и окон, застекленными огромными зеркальными стеклами. Поглядеть на эти рестораны и отведать самебской хлеб-соли люди приезжали издалека. Правда, ходили

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

слухи, что на этом деле здорово нагрели руки не только приезжие архитекторы и местные строители, но и кое-кто из высшего районного начальства, но кто именно — умалчивалось.

Вскоре стало известно, что за перерасход средств, допущенный на строительстве ресторанов, Вахтанг Петрович схлопотал себе выговор, но разве два ресторана не стоили одного выговора?

Этот выговор даже несколько поднял авторитет Вахтанга Петровича в глазах самбцев. Он явился свидетельством того, что первый секретарь радеет о нуждах района и не побоялся в ущерб своей карьере сделать полезное для народа дело.

— А сколько было у нас секретарей, которые не выговоры, а только благодарности и поощрения получали, но для района ни черта не делали, — рассуждали некоторые. — Такие свое благополучие выше ставят, чем интересы района. Вахтанг Петрович же не побоялся хорошее дело сделать. Выговор — ерунда; сами же этот выговор и снимут, а здания, сквер, обелиск — навсегда останутся.

— Сейчас, — говорили другие, — не только обелиск — курятник не построишь без нарушения; за материалы верх давать надо, без этого, если даже тебе в первую очередь полагается, по своей цене гвоздя ржавого не получишь. А рабочие? По норме бетонщику рубль полагается, а что такое рубль? Меньше чем за десятку никто работать не пойдет — вот тебе и плановая стройка. Наш Вахтанг Петрович дело понимает, знает, что не подмажешь — не поедешь. Нам именно такие и нужны!..

Да, Вахтанг Петрович немало потрудился... На главной улице водрузили крупнейшее мозаичное панно. Ни один самый смекалистый человек не смог бы догадаться, что изображено на этом необыкновенном панно, однако оно было такое яркое, пестрое, сверкающее, что невольно бросалось в глаза, и каждый, проходивший мимо, свернув шею, глядел на удивительную картину, где изображались быки с зажженными свечами на рогах, крестьяне с гроздьями винограда в руках, совершенно невероятных объемов женщины с колоссальными грудями и задками, пиромановские ягнята, веникообразные деревья, какие-то

странные то ли станки, то ли машины, и конечно же чайные плантации с Героями Труда.

У людей на панно короткие ноги были раскорячены (что, вероятно, указывало на то, как твердо стоят они на родной земле) и каждая икра была такой необыкновенной толщины, что не уступала крупу хевсурской лошади.

В период руководства Вахтанга Петровича район ощутимо продвинулся вперед. Он трижды получал переходящее Красное знамя. Правда, было немного странно, что ни молока, ни яиц, ни мяса, ни овощей в государственную продажу не поступало, однако все планы по заготовке этих продуктов под руководством Вахтанга Петровича блистательно перевыполнялись.

За эти успехи люди получали премии, причем каждый премированный справлял «магарыч», то бишь кутеж (разумеется, при тамадовстве Вахтанга Петровича!); где и птичьего молока хватало, и певцов районного Дома культуры.

В Самебском районе затеяли было строительство нескольких промышленных и аграрных объектов. Правда, на некоторых из них были обнаружены крупные растраты, но — волков бояться, в лес не ходить. Не закрывать же строительство из-за двух-трех разинь-реvisorов и жуликоватых прорабов или недобросовестных бухгалтеров!..

И вот в один достопамятный день Вахтанг Петрович прикатил на своей черной «Волге» и на завод Годердзи. Внимательно осмотрел производство, обо всем расспросил. Понравились ему и богатырского вида директор, и его деятельность.

Поддерживаемый сопровождавшими секретаря лицами, которые и «подбросили идею» Годердзи, он осмелел и послал черную райкомовскую «Волгу» к Малало. В результате этого у них дома, в тени цветущих лип, в ознаменование успешно закончившейся «инспекции» был задан пир.

Гости покутили на славу, вкусно поели, крепко выпили.

Тряхнул тогда стариной Годердзи! И свое прославленное «метивури» спел, и крестьянский «давлури»

сплясал, и тамада был удалой да разгульный, пил, шутил, гостей веселил и до того очаровал Вахтанга Петровича, что подогретый гостердзиевым «тавквери» и растроганный оказанным ему почетом первый человек района беспрестанно лобызал директора кирпичного завода и, одурманенный липовым ароматом, чувствовал себя в райском саду.

Через несколько дней Гостердзи получил записку. Первый секретарь просил кирпич для строительства своего «коттеджа». Гостердзи не задержался с ответом — на следующий же день отправил ему специально обожженный и поштучно отобранный кирпич. Впоследствии он еще дважды или трижды получал подобные записки и тоже не задерживался с выполнением изложенных в них просьб.

Правда, корреспонденты забывали отправить деньги за товар, но их «забывчивость» приносила еще больше пользы директору кирпичного завода: его авторитет хорошего руководителя предприятия возрастал с каждым днем.

Не прошло и года со дня появления в районе Вахтанга Петровича, как Зенклишвили назначили управляющим открывшейся в Самеба базы «Лесстройторга», придав ему в помощники Исака и Серго.

Гостердзи ни одного из них прежде не знал. Но Вахтанг Петрович успокоил его: «Не бойся, они люди надежные, я их давно знаю, вы хорошо работаетесь».

Так оно и получилось. Мудрый человек был Вахтанг Петрович, прозорливый!

Когда Гостердзи назначили на эту должность, Малхаз находился в Тбилиси. Эти последние годы, перед окончанием школы, летние каникулы он обычно проводил там, живя у сестры Магалашвили, с которой занимался английским языком. В Тбилиси и узнал он о новой работе отца, но никак не откликнулся на это событие, будто ничего и не слышал. Нельзя было понять, знает он что-нибудь или нет.

Но, приехав в Самеба на каникулы, он проявил свою осведомленность приветствием: «Привет управляющему базой!» — кривя губы в некотором подобии улыбки, проговорил сын при виде отца и тут же погрузился в привезенные с собой газеты.

Малхаз не мог не заметить, что «выдвижение» от-

да уже сказалося на семье. В комнате стоял новый полированный обеденный стол с шестью обитыми зеленой тканью стульями. У стены красовался модный в те годы рижский сервант с гранеными зеркальными стеклами. В углу на специальном столике мерцал экран телевизора. Вместо засиженной мухами лампочки, торчавшей под потолком, теперь на старом, поржавевшем крючке висела довольно элегантная люстра.

Поразительно, откуда взялось у этого молодого человека столько выдержки, что он ни разу ничего не спросил о появившихся в доме обновлениях, ни разу не проявил никакой радости или хотя бы простого удовольствия по поводу их приобретения.

Он погрузился в чтение газет так, будто ничего достопримечательного и не было. Правда, мимоходом провел рукой по полированной поверхности стола, как бы сметая с нее пыль, включил люстру, выключил, повернул переключатели телевизора и небрежно, ногой выдвинув стул, подсел к обеденному столу.

Малало не стерпела, спросила:

— Как тебе нравятся, солнышко, эти новые вещи, папа поручил их привезти...

— Эх, мама! Ты не видала настоящих вещей и не бывала в настоящих домах, а то бы не восторгалась этим барахлом.

Сказал, точно холодной водой окатил мать.

— В Тбилиси не знаю, — ответила глубоко уязвленная Малало, — а в Самеба лучшая мебель мало у кого есть...

— Счастливые вы люди, ты и мой отец, все измеряете меркой Самеба и мыслите самебскими масштабами.

Малало не знала, что такое «масштаб», поэтому не поняла, что значило «мыслить самебскими масштабами», но легко догадалась, что сын высмеял родителей и упрекнул их в ограниченности.

— Что поделаешь, мальчик, — «мальчиком» она обыкновенно называла Малхаза лишь когда наказывала его или бывала им недовольна, — я и твой отец люди старого покроя. Может быть, мы и не понимаем

в теперешней жизни, но а ты-то что молчишь? Скажи, научи нас, наставь. А ты вот воды в рот набрал, откуда же нам знать, чего ты хочешь?

— Того, чего я хочу, я сам добьюсь.

— А разве не скорее добьешься, если мы тебе подсобим?

— Что мы такое, вместе взятые, мама, знаешь?

— Ну, что мы такое? Не пристало уж тебе с нами вместе жить, да?

— Мы — лебедь, щука и рак.

Малалю, конечно, не знала басню дедушки Крылова и слова сына поняла в прямом смысле, подумав, что лебедем сын называет себя, а мать и отца — раком и щукой, и возмутилась страшно:

— Ой, чтоб треснула эта чванливая тыква, что у тебя на месте головы! До чего же язык у тебя зловредный, паршивец ты этакий! Сам ты и лебедь, и щука, и рак! Ты воображаешь, что только через книги человеком можно стать, ан нет! Видала я таких ученых, да только люди они никудышные! — и разгневанная Малалю вышла, с сердцем хлопнув дверью.

Но и Малхаз уже не был тихим и робким деревенским парнем. К тому же город отшлифовал его, сделал гибким и изворотливым, научил и лгать, и фальшивить, и лицемерить. А уж как смягчить материнское сердце, он и прежде хорошо знал.

И сейчас поступил должным образом: побежал за ней следом, догнал, обнял за талию, чмокнул в щеку.

Малалю тут же оттаяла, потрепала его за чуб, чуть не в слезы ударилась. Непривычна ведь была к ласке сына.

— Вот ты, мамочка, на то обиделась, что я не похвалил ваши приобретения. А знаешь, почему не похвалил? Я за последнее время такие мебели видал и в таких домах побывал, что тебе с отцом и во сне не снилось. Если бы ты видала квартиру хотя бы одной только моей сокурсницы, ты бы дара речи лишилась.

— Это та красивая девочка? — с лукавой улыбкой спросила Малалю.

— Да... а ты откуда знаешь?

— Птичка сказала, — с той же улыбкой отшу-

тилась Малало. — Ее отец инженер, управляющий трестом?

Малхаз не ответил на вопрос. Отмолчался. Что-то снова заговорил:

— Теперь, мамочка, иные времена. Люди научились ловчить, приспособливаться, силу обрели и жиром обросли. Нынче такие семьи пошли, по горло всем обеспечены. Ты бы глянула, чего только у них нет, какая обстановка, да не так, с бору по сосенке, а все гарнитуры, сами по последней моде одеты-обуты, по разным странам путешествуют. По заграницам так разъезжают, как вы с отцом в Тбилиси не ездите... А то еще — кооперативное строительство квартир. В одном только Ваке до ста кооперативов создали и все строятся. А квартиры-то какие! И пятикомнатные есть... Разбогател народ, отъелся. Сколько денег у людей завелось, просто удивительно. А вы шести стульям радуетесь, да не только сами радуетесь, еще хотите, чтобы и я от радости в пляс пустился!..

— Что поделаешь, сын мой, мы с твоим отцом — деревенские люди, куда нам с городскими тягаться, да и как? Мы-то что можем?..

— Что можете? А почему, собственно, отец не может? Сперва убивался на кирпичном заводе, и что получилось? У самого-то дома и нет! Разве это дом? Конура какая-то!.. Теперь вот огромной базой управляет, и опять — что? Какой для него в этом прок? За такое место люди наперед громадные деньги дают. А отец даром получил и не может пользу из этого извлечь. Вернее, не хочет. Люди по два дома имеют, один в деревне, или просто дачу строят, другой в Тбилиси. А у нас и одного приличного нет, ни там, ни здесь... Ты еще говоришь, почему я не весел, почему скучный да неразговорчивый, да то, да се... Если любите меня и обо мне заботитесь, то делом помогите, а пустые разговоры ничего не стоят...

Малало разинув рот слушала сына. В жизни не слыхала она от Малхаза столько слов, вместе сказанных, да с таким жаром, так взволнованно. У нее

словно прояснился разум, пелена какая-то с глаз спа-
ла.

Вот, оказывается, что мучило их сына! Люди ^{раз}богатели, в гору пошли, только Зенклишвили топчутся на одном и том же месте.

Да и в их деревне разве не так? Разве не то же самое происходит? Председатель колхоза не побоялся судов-пересудов и возвел себе двухэтажный дом, председатель райпотребсоюза такую домину отгрохал, что ой-ой-ой! Да оцинкованной жестью кровлю перекрыл... А посмотрите на Мчедлишвили, Гогичайшвили, Сазандришвили, Роинишвили, Баблидзе, Мехришвили! Какое состояние нажили, как обстроились!

Не счесть, сколько новых домов в одном только Самеба повырастало, и не каких-нибудь, а все огромные, все кирпичные, как говорят теперь, с «новой планировкой» да с оцинкованными кровлями, с мозаичными лестницами и широкими окнами, с застекленными галереями — «шушабанди», которым и название новое придумали — лоджия, с марани, с большущими подвалами, с разными хозяйственными постройками и шут его знает с чем... Полы-то в комнатах сплошь паркетные, да кафеля кругом, да уборные теплые, да ванны горячие...

У Малало аж дух перехватило...

Семья ее отца, царство ему небесное. Каколы Шавдатушвили, первейшей считалась во всем селе, а теперь? Что осталось от бывшего богатства, только дым? И почему она вовремя не заметила всего этого, проглядела! Нет, замечать-то замечала, но до мозгов не доходило. Вместо того чтобы вовремя подтолкнуть мужа, вовремя последовать примеру умных людей, она в какой-то дремоте пребывала. Ой, горе ей, горе, и это называется верностью мужу и любовью к сыну? Слава богу, хоть сейчас прозрела и опять же благодаря Малхазу...

Они с Годердзи смотрели на него, как бараны, и удивлялись, отчего он не смеется! А чего ему смеяться-то, солнышку моему, у него все нутро огнем горит, а мы ничего не видим, не замечаем! Горит у него сердце, горит! И все по их вине, все по их вине...

Годердзи в тот день пожаловал домой навеселе.

С тех пор как он начал на базе работать, по

крайней мере пять дней в неделю возвращается домой подвыпившим. Войдет, грохая дверьми, стуча сапожниками, возьмет приготовленную для него банку мацони, запустит в нее длинный хлебный нож, разболтает ножом этим густое мацони, потом поднесет банку к рту и пока до дна не опустошит, не оторвется.

Вот и сейчас, сопя и причмокивая, опорожнил он целую банку с буйволиным густым, как масло, мацони, со стуком поставил ее на стол. Потом сел на кровать, кряхтя разулся, шумно поскреб волосатую грудь.

Малало, как ни странно, уже лежала, с головой накрывшись одеялом, да еще повернувшись к нему спиной.

Сколько Годердзи себя помнил, жена никогда не ложилась спать раньше него, — разве только если бывала больна. Она всегда с улыбкой встречала его и сразу же сообщала все интересные новости.

— Эй, Малало, — окликнул ее Годердзи. — Что за сон тебя сморил? — И, не получив ответа, с размаху шлепнул ее ладонью по широкому заду.

Малало не отозвалась, притворяясь спящей.

— «И плато-ок тебе-е я бро-ошу...» — запел Годердзи слышанную когда-то в княжеском доме старинную песню. Пел тихим голосом, мурлыкал — в хорошем, видать, настроении был.

Малало вдруг резко ткнула его локтем в бок:

— Угомонись, нехристь, ночь на дворе. Распелся мне здесь, будто он один в доме.

— Вот еще! Уже и петь не дают, — беззлобно удивился Годердзи.

Продолжая тихонечко напевать, он взбил подушки, лег, устроился поудобнее и, только стал задремывать, Малало вдруг подскочила, как заведенная кукла, и села на постели, выпрямившись, словно кол проглотила.

— Погоди спать! — категорично заявила она. — Дело есть, поговорить надо.

— Ого!.. — вырвалось у Годердзи.

С самого того дня, как они поженились, Малало ни разу не обращалась к нему с подобным требовани-

ем. Он повернулся на бок, лицом к ней, и недовольно пробурчал: — Что, утром не успеется, что ли.

— Нет, не успеется, сейчас нужно.

Годердзи сразу протрезвел и с любопытством уставился на нее.

— Что за дело, о чем надо поговорить?

— О Малхазе.

— А-а, да брось, бога ради, какое время Малхаз, не ты ли сама сказала, что сейчас ночь? Говорить ей захотелось, будто дня не хватает... — и он повернулся к стенке.

В последнее время, когда он бывал сердит на сына, он говорил о нем пренебрежительно. Видно, и сейчас сын ему чем-то не угодил.

— Очень он на нас обижен, — с подчеркнутой горечью произнесла Малало.

— С чего это он обижен, интересно мне знать? — спросил Годердзи, не поворачиваясь более в ее сторону.

— Да уж и не знаю, только, должно быть, прав он...

— Ну? И что, говорит, ему надо, чем недоволен?

— Да уж и не знаю... — повторила Малало, — по старинке, говорит, живете, нет у вас стремления к новой жизни, все люди, говорит, разбогатели, о животе заботятся, а вы просто дураки, говорит, никакого понятия о современной жизни не имеете и не думаете себя обеспечить, вы, говорит, это, как его... раки и... господи боже, забыла!... Шуки, да, да, лебеди, говорит, вы... протрите глаза... Отцу моему, говорит, такое дело поручено, а он ничего с этого не имеет. За такое место люди большие деньги платят, говорит, зато потом вдвойне получают. И пошел, и пошел, и все в таком духе, но так он хорошо говорил, так складно, радость мамина...

— Ого, — Годердзи тряхнул головой и тоже сел на кровати, — это что же он такое наговорил? Точно, как Исак Дандлишвили, а? Они, оказывается, одинаково поют.

— Да чтоб гром его разразил, твоего Исака! Пройдоха он и торгаш, а наш сын умный парень, ученый, и во всем толк понимает. Поговори ты с ним, Годердзи!..



— Ты подумай, как они в лад поют! — с удивлением повторял взволнованный управляющий базой. Можно подумать, сговорились...

В ту ночь ни Годердзи, ни Малало глаз не сомкнули.

Наутро поднялись оба до свету, разбитые, измученные бессонницей.

Слова сына привели Годердзи в смятение.

Малхаз и Исак Дандлишвили и вправду одинаково пели.

Они не знали друг друга, никогда и не видели друг друга, а рассуждали совершенно одинаково. Вероятно, и стремления у них были одинаковые...

* * *

Месяца не прошло с тех пор, как Годердзи начал работать на базе, а Исак уже изучил его, как свои пять пальцев, и, пожалуй, лучше самого Годердзи понимал тайные мысли Годердзи и знал, что у него на сердце.

Прошел еще месяц, и Исак постепенно начал наступление на своего «начальника» (так он обычно обращался к нему на людях — «начальник»). Он настойчиво и хитро пытался втянуть его то в одно, то в другое «дело», но Годердзи упрямо сопротивлялся и только повторял: «Нечестным путем я хлеб не зарабатывал и не дай бог мне такой хлеб есть».

Однако и Исак был не менее упрям. Он продолжал обрабатывать Годердзи, причем был не одинок в этом: Серго оказался еще настырнее и хитрее. Там, где не проходила философия Исака, шуточки-прибауточки Серго, его будто бы наивные речи, как правило, приправленные солеными словечками, любимыми Годердзи, сразу же делали «начальника» более покладистым и сговорчивым.

Прошло еще два месяца, и Исаку удалось втянуть Годердзи в небольшие «дела».

Уложенный штабелями лесоматериал сортировался как бог на душу положит, категория тоже устанавливалась произвольно. Составлялись «липовые» накладные, лесоматериал продавали по завышенным рас-

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

ценкам. Так же поступали и при реализации других товаров.

Все это давало далеко не малый доход, но Исаак не был бы Исаком, если бы довольствовался малым! Сам он считал себя человеком крупного масштаба, и аппетиты у него были соответствующие.

Мелкое жульничество отлично удавалось Серго, причем он одинаково охотно шел как на «крупное дело», так и на «маленькое». Исаак же не любил мелочиться по пустякам.

Еще несколько месяцев обхаживал он «начальника». Рассказывал ему разные душеспасительные истории, приводил всевозможные примеры инициативной деятельности «миллионеров», людей, безболезненно делающих огромные деньги «из ничего» и одновременно занимающих высокие государственные посты, играющих отнюдь не маловажную роль в общественной жизни республики.

Но все было напрасно: «На хлеб зарабатываем, а больше не надо», — твердил Годердзи.

Исаак уже начинал выдыхаться. Он устал увещивать и вразумлять. Он предлагал Годердзи то одно, то другое «верное» дело, и все было тщетно!

А ведь они, как утверждал и проповедывал Исаак, на золотой жиле сидели.

Месторасположение базы способствовало притоку к ней нуждающихся в стройматериалах покупателей со всех районов Картли. Откуда угодно устремлялись люди к «годердзиеву складу».

Исаак хорошо знал, как тут можно пожить, будь его управляющий несколько иным человеком. Потому-то он упорно думал над тем, как бы его обломать, и не давал покоя ни себе, ни тупо упершемуся управляющему. Словом, главный бухгалтер пребывал в состоянии тяжелой борьбы и переживал бурю страстей.

Он никак не мог решить, что же ему делать: постараться столкнуть Годердзи с должности управляющего или нет. Он-то с легкостью мог добиться устранения Годердзи и перевода его куда-либо в другое место и даже снятия с работы, но хорошо, если назначат более податливого и сговорчивого, а если пришлют кого-нибудь похуже и посильнее, который потом и самого Исаака «проглотит»?

Мелькала у него и такая мысль, что лучше самому ему убраться с базы подбру-поздорову, но очень скоро он сам же окончательно ее отверг: во-первых, где он мог бы устроиться лучше, во-вторых, жаль было затрат, понесенных им во время охоты за этим местом. Исак Дандлишвили был человек расчетливый, без выгоды шагу не ступал. Так он был воспитан и приучен еще с раннего, довольно нерадостного детства.

Однако не зря говорится: ежели судьба тебя милует, то и на навозной куче не пропадешь. А судьба и впрямь потворствовала Исаку. Всемогуший господин Случай, явившийся очень кстати, и на этот раз вывел Исака из затруднения: неприступная крепость годердзиевой принципиальности пала неожиданно, преданная изнутри (обычная участь неприступных крепостей!). Малхаз и его матушка изрядно подкопали стены этой крепости.

Когда после той бессонной ночи Годердзи, разбитый и озабоченный услышанным от жены, переступил порог базы, Исак сию же минуту заметил, что шеф не в духе.

— Дорогой начальник, видимо, плохо спал ночью, верно говорю? — с проницательностью ясновидящего елеинным голосом осведомился Исак.

— Э-эх, — Годердзи только рукой махнул и направился в кабинет.

С той минуты Исак уже не отставал от своей жертвы. Он увязался за Годердзи в кабинет, уселся напротив него и устремил на него испытующий взор — не терпелось ему выведать, в чем дело. Как знать, может переживания шефа имеют значение и для него?

Въедливый и дотошный был Исак Дандлишвили, назойливый и прилипчивый: если ему почему-либо нужно было войти в доверие к кому-либо, он столько обхаживал того человека, что обязательно добивался своего.

— Да что с тобой, начальник, скажи наконец! Человеку опять же человек руку помощи протянет, разве не так? Скажи, в чем дело? Вижу я, у тебя сегодня такой плохой цвет лица, такие грустные глаза, и ше-

ки впали... Не струсилось бы с тобой чего... Скажи мне, откройся, поделись, тебе же легче станет, я ведь тоже что-то кумекаю в жизни!..

Впоследствии Годердзи не раз размышлял над этим случаем и сам удивлялся, как он так, с бухты-барухты, доверился по сути постороннему человеку, которого вдобавок считал пройдохой и пронырой. Да, что ни говори, а доверился!

И вправду было удивительно, что осторожный, неразговорчивый, скупой на слова Годердзи открылся-таки непрошеному советчику. Видно, крючконосый, с запавшими щеками Исак, в минуты откровенности сам себя называвший опытным коммерсантом, обладал какой-то колдовской силой.

Но и Годердзи был не таким уж простаком. Он обычно затруднялся облечь свою мысль в соответствующую словесную форму, но сама мысль его всегда бывала верной и меткой. «Эх, будь у меня язык подвешен так, как мозги устроены», — не раз думал он о себе, с сожалением покачивая головой.

И теперь, когда Исак особенно на него наседал, втирался в доверие, все время что-то выведывая и выпытывая, все-таки сработала присущая Годердзи осторожность: вместо того чтобы разоткровенничаться полностью, он сдержанно сказал:

— Не знаю, дорогой мой Исак, вчера вечером у меня с моим парнем неприятный разговор вышел, повздорили малость...

Исак наострил уши. Такое дело он предвидел, он не раз предполагал, что рано или поздно если и не у самого Годердзи, то у членов его семьи разгорятся аппетиты.

И эта, вроде бы и ничего особенного не содержащая фраза сказала Исаку гораздо больше, чем управляющий воображал. Годердзи и не подозревал, насколько облегчил Исаку его задачу.

— Чего не поделили? — будто между прочим, небрежно и якобы безразлично спросил Исак.

— Ты же знаешь, аппетит приходит с едой. Нынче такая молодежь пошла, все им мало, все им вынь да положь, и все для себя!

— Да, я вот тоже в твоём положении! — помол-

чав, сочувственно проговорил Исак, и в его голосе можно было бы различить замаскированную радость.

— Правда? — поддался было Годердзи, однако тут же одернул себя, испугавшись, как бы не углубиться, но уже было поздно.

Исак задумчиво молчал.

— Эхе-хе, — с кряхтением выдохнул Годердзи и направился к дверям.

У стены конторы складывали обычно огромные сосновые бревна, Годердзи любил забираться на эти бревна, на самый верх, и сидеть там в уединении. Весной, когда солнце было еще не таким палящим, он с наслаждением нежился в ласковых лучах. Часами мог он сидеть так, устремив взгляд в окутанную туманной дымкой даль.

Сидел и грыз морковку. Некоторые посмеивались над этой привычкой управляющего, и однажды Серго не вытерпел и сделал ему замечание:

— Ты что, заяц или управляющий, чего это ты морковку грызешь? Людей постыдился бы, смеются они над тобою.

— И ты дурак, и они дураки, ни черта вы не смыслите.

— А чего смыслить-то, сидишь и грызешь морковку, как заяц.

— А почему я ее грызу?

— А кто тебя знает, почему!

— Ой и дурень же ты, Серго, ослиная твоя порода... Ешак билурсан хурма наистэрсан, — добродушно засмеялся Годердзи, повторяя любимую поговорку.

— Только не начинай сейчас притчи рассказывать, знаю я тебя...

— А того не знаешь, балда ты этакий, что на фронте нам, снайперам, — я-то до ранения полгода снайпером был, — всегда морковку давали.

— Это еще зачем? — удивился Серго.

— Зачем! Говорю тебе, что ты ни черта не знаешь. А затем, что она, морковка-то, человеческое зрение обостряет.

— Да ну! Врешь!

— Вот те крест!

— Ладно, верю, но здесь ведь у нас не фронт!

— Зрение везде острое надо иметь, и на фронте, и в тылу, и вообще.

— А что, тебе твоего зрения не хватает, а? — загоготал Серго. — У тебя глазищи во-о какие, как поведешь ими, все что надо и не надо ухватишь.

— Ага, потому-то и поддерживаю свои глазищи чтобы таких жуликов, как ты, за три версты углядеть, понял теперь, почему я морковку ем?

Серго опешил, потом развел руками, засмеялся и сделал жест — мол, сдаюсь, твоя взяла.

А в Самеба царила ранняя весна.

В ярко зеленеющих садах благоухали плодовые деревья. Знаменитые самебские груши-гулаби стояли в пышном белом цвету. Над ними с жужжанием роились пчелы.

Нагретый солнцем чистый воздух был прозрачен как хрусталь, и тишина была так звонка, что каждое произнесенное слово, каждый звук разносились далеко-далеко и слышались ясно и отчетливо.

Пестрело разноцветными цветами в прошлом унылое Персово поле.

Невдалеке густо цвели колючие кусты держидерева, или христовы тернии, распространявшие сладкий пряный аромат.

Эти кусты были такими родными для Годердзи! Разве кто сосчитает, сколько раз маленьким мальчиком он в кровь обдирает о них руки и ноги, когда собирал с бабушкой их своеобразные цветы. Бабушка готовила из них настойку от кашля.

Там и сям, среди кустов держидерева проглядывали мелкие красные цветочки сухоцвета.

Глубокое голубое небо, бездонное, бескрайнее, загарывало и манило, и если долго смотреть на него, казалось, что медленно - медленно воспаряешь ввысь.

Годердзи, удобно расположившись на своих любимых бревнах, расслабившись всем телом, широко раскинув ноги и положив руки на колени, смотрел в утопавшую в голубовато-розоватом мареве даль, туда, где меж холмов и низин поблескивал серебряный пояс Куры.

Кура была его заветная, она постоянно жила в нем, она была отрадой и светом его души...

Исак с превеликой осторожностью, медленно ^{взо}брался на верх штабеля, где предавался своим ^{мыслям} и мечтам управляющий базой. Он с такой опаской ^{ступ}пал по бревнам, словно ходил по огромной спящей змее и боялся, как бы она не проснулась.

Он терпеть не мог подниматься на эти бревна. Ведь в любую минуту они могли дрогнуть, сойти с места, скатиться и превратить Исака в лепешку. А этот чудак Годердзи сидел на самой верхотуре, словно в мягком покойном кресле.

Кое-как взобравшись наверх, Исак вытащил огромный пестрый носовой платок, обмахнул им одно из бревен, поближе к Годердзи, расстелил на нем платок и сел. Сел совсем рядышком с управляющим.

— Сейчас уже и в России весна, — помолчав, задумчиво заговорил он. — Еще немного, и в Сибири дороги откроются, и водные и сухопутные.

— Ты что, никак в Сибирь захотел? — лукаво ухмыльнулся Годердзи.

— Пусть мой и твой враг едет в Сибири! Я это к тому, что скоро лес оттуда пойдет. Приближается рабочий сезон, и все мои товарищи будь здоров как наживутся! А я здесь прозябаю и смотрю в руки Серго, от него, от его копеек долю имею. Эхе-хе, Исак, как зря ты теряешь время, зря пропадаешь!

— Отчего же зря, — снова улыбнулся Годердзи, — и отчего пропадаешь? Зарплата у тебя каждый месяц идет, это раз, — он загнул палец, — худо-бедно, а деньгу выколачиваешь, это два, — он загнул второй палец, — на свежем воздухе находишься — это три, жратву хорошую имеешь, Харитон каждый день посылает тебе отменную солянку и бугламу — это четыре. Какого же еще черта тебе надобно?

Любил Годердзи поддеть, поддразнить Исака, ползти его. Как только Исак начнет свои речи с дальним прицелом толкать, Годердзи сейчас же переводит разговор в шутовское русло, а нахмуренный бухгалтер от такого его маневра до белого каления доходит.

— Э-э, тебе, я вижу, все шуточки, а я с досады лопаюсь. Ты знаешь, какие дела можно тут завертеть? И к тому же безопасно на все сто! И сын твой не бу-

дет с тобой ругаться, и жена пилить перестанет, оба шелковыми сделаются, клянусь моим счастьем, раз-
рази меня господь, если не так будет!

При упоминании о сыне Годердзи изменился в лице.

Вот оно, его больное место. И сразу у него на душе тяжело стало. Он помрачнел, насупился.

Исак исподлобья незаметно наблюдал за шефом.

— Вот, к примеру, возьмем твоего сына... — вкрадчиво заговорил он.

— Моего сына оставь в покое. К примеру своего сына возьми, — глухо проговорил Годердзи и пуще нахмурился.

— Воля твоя, воля твоя... — тотчас угодливо согласился Исак. — Я и о моих девочках скажу, у меня-то сына нет, не дал бог, потому я с твоего сына и начал... Ты говоришь, он недоволен. А как же оно может быть? Да ты погляди на него, молодой человек, умный, образованный, красавец парень, гордый, как и отец, и самолюбивый, как и отец. Ему сейчас, смолоду, все нужно, и хорошая жизнь, и развлечения, и средства, и хорошенькая жена ему нужна, и радость нужна. Когда постареет, как мы с тобою, на кой шут ему все это? А что сейчас у него есть? Ничего. В городе в общежитии живет. Здесь, в родной деревне, в двух комнатных квартирах ютятся, точно волки в клетке, знаешь, как в зоопарке... Да очнись ты, начальник дорогой, человек ты или нет, раскрой глаза, прочисть уши, посмотри, как вокруг тебя живут, ведь что в больших городах делается? Люди не знают, куда деньги девать, друг друга обогащают. Рука руку моет, а две руки — лицо, слышал небось? А наши руки что делают, мои и твои? В харитонову солянку и бугламу хлеб макают... Ха-ха-ха, смешно и горько бывает, когда думаю. Разве этого нам достаточно? Разве этого нам хватит? Что мы за душой иметь будем, когда состаримся, что на черный день припасем? Проснись, Годердзи, проснись, брат, пока не поздно!..

— Исак, оставь меня, бога ради, мне и своих забот хватает!..

— Так ведь и я о том же! Заботы!.. Я-то почему все это говорю? Мы с тобой так должны все обмозго-

вать, так должны действовать, чтобы забот у нас меньше было, а радости больше!

— Эх, дорогой мой, разве найдется на этом свете беззаботный человек?! А если и найдется, знай: и не человек он вовсе...

— ...У меня такие друзья в России, и в Кемеровской области есть, и в Тюмени, и в Новосибирске, в Омске — где угодно! — будто не слыша, продолжал Исак. — Я им только свистну, они сколько хочешь вагонов леса пришлют!.. Без денег, понимаешь, даром! Ни тебе задатка, ничего, понял? Сперва ты этот лес продашь, а потом уже расплатишься. У меня там полное доверие, пойми, брат, ведь это само по себе великое дело, доверие!.. Никаких документов не надо, только свистну — и все! Что хошь, сколько хошь! Ни тебе наряда, ни отношения, ни госплага, ни накладной и ни денег!.. Получай, сколько душевненьке угодно, продавай, а рассчитывать после. Ты думаешь, такое доверие многие имеют? И разве не грех этим не воспользоваться? Такая перспективная, такая чудесная база зря пропадает, разве это дело? Одним только планом мы должны жить? Да проснись ты, человече, проснись, оглянись кругом, какие перспективы имеем, а все в воду бросаем!..

— А что, если потом и нас туда отправят, откуда этот лес доставлять будут, по этапу, а? — не без юмора задал ему однажды вопрос Годердзи.

— Э-э, да ладно, о чем ты говоришь, посмотри, как все кругом хапают. Мы дело будем вести осторожно, потихоньку-полегоньку, но с толком и выгодой. И на черный день прибережем, а коли, не приведи бог, загремим — тут же глотку им и заткнем!.. Ты денежки посыпь — в любой реке брод откроется, по монеткам, по монеткам так перейдешь, даже ног не промочишь!..

— Нет, Исак, я на это не пойду, дурной хлеб никогда не ел и есть не буду!

— Да какой там дурной хлеб, помилуй! Трудом и потом заработанный, а не дурной! Тут тебе и мозгишками шевелить надо, и рисковать своей шкурой, милый ты мой, такой хлеб ценою своих нервов, кровью

своего сердца зарабатывают, а не отнимают у ког~~о~~
то... А ты — дурной хлеб!..

Все чаще и чаще происходили такие разговоры между Исаком и Годердзи. Исак не читал поэмы Руставели, но и сам знал, что «камни твердые дробятся...»

Он упорно, настойчиво долбил свое дорогому шефу. Сегодня с одной стороны подъедет, завтра — с другой, нынче одну притчу расскажет, завтра — другую, словно бы между прочим, невзначай и «к слову».

А Годердзи все с большим интересом и вниманием его слушал.

— Ничего страшного тут нет, — зудел Исак. — Это делается так: мы пишем специальное отношение, то есть требование, дескать, для нужд базы просим выделить сто кубометров лесоматериала... Получаем эти сто кубометров и через доверенного человека накладную пересылаем назад. Там эту накладную уничтожают и присылают еще сто кубометров лесоматериала — по новой накладной, но в книге исходящих эта вторая накладная у них, как и первая, не проводится, то есть обе накладные фальшивые, о них никто никогда не узнает, понял? Когда мы и вторые сто кубометров получаем, накладную эту, вторую, как и предыдущую, отправляем им обратно, а материал, ясно, принимаем. Но материал тоже не оприходуем, как и в прошлый раз. Потом они оттуда снова присылают нам сто кубометров, уже по третьей накладной, но как будто это только первая их присылка, в ответ на наше первое требование. Дошло?.. И что в конце концов получается? А то, что, согласно документам, мы только раз просили сто кубометров и они тоже всего один раз прислали сто кубометров материала. В нашем приходе только один раз будет отмечено поступление ста кубометров. А в действительности они тебе хоть семьсот пришлют, хоть тысячу, а то и больше! После уж твое дело — тут уж все зависит от твоей сноровки и расторопности, продашь — половина твоя, половина ихняя. А половина-то эта, знаешь, какая? Раз и навсегда тебя на ноги поставит, во!.. Пойми ты, милый человек, пойми, сообрази, в конце концов...

Поначалу Годердзи легко отбивался от исаковых атак. Старался не давать ему много болтать. Но под

конец энергичный и настырный главный бухгалтер до-
бился-таки своего — заинтересовал управляющего

Со все возрастающим вниманием слушал Годердзи волнующие рассказы, и в глазах его все чаще вспыхивали огоньки — сперва удивления, потом интереса.

— ...Это, дорогой шеф, называется «левый» товар. Сейчас это самое доходное дело. На сегодняшний день производство так возросло и развилось, технология так шагнула вперед, что в каждом учреждении, на каждом предприятии, где производится хоть какой-нибудь продукт, повсюду можно и «левак» делать. А как же ты хочешь, не все ведь должно государство забирать? Пусть и люди немного имеют... Если я для государства сверх плана двадцать брюк шью, то я должен иметь право для себя хоть одну пару выкроить, от этого мир не перевернется, а я больше стимула буду иметь. А не дашь мне эту одну пару сшить, так я тебе те двадцать не дам, которые сверх плана. Ведь я их за счет моего здоровья шью и за счет моего умения. А теперь сам посуди, что лучше: дать мне ту одну пару и получить двадцать сверхплановых, или не разрешить мне ни одной пары и самому с носом остаться? Одним словом, «левый» везде есть, главное только знать, как его изыскать и реализовать, понял, друг любезный?

...Теперь вот наше дело возьмем. В Сибири леса до черта, не знают, куда и девать. Для них погрузить десять, двадцать, тридцать вагонов — раз плюнуть и только. Они рады-счастливы, когда настоящий клиент появляется. Главное дело — в дороге не засыпаться. Эти вот фальшивые накладные для того и нужны, чтобы тебя при перевозке не поймали. Никто не должен знать, сколько ты получил и сколько продал. Ежели ревизия нагряднула, ты должен так показывать: вот, дорогие мои, получил я сто кубометров — продал сто кубометров, то есть осла купил — осла продал, и весь сказ! Понял?

— Но ведь то, что я вместо ста тысячу продал, все равно узнают, если не там, так здесь? — с сомнением спросил Годердзи.

Исак чуть не подпрыгнул от восторга. Вопрос Го-

дердзи свидетельствовал, что «идея» уже проняла его, что он заинтересовался «делом». А это было начало победы.

— Никто не должен узнать, начальник, в том-то и вся премудрость! А если кто узнает, тому немедленно рот нужно заткнуть, а уж чем заткнуть, сам знаешь... вестимо, не кляпом!.. Ну, скажи на милость, что во всем этом чересчур сложного и чересчур рискованного?

На исходе весны Исак усилил натиск. Он отлично видел, что, хотя Годердзи и делал равнодушный вид, лед тронулся: захватывающие рассказы и соблазнительные планы, которые он рисовал, сделали свое дело.

В один из тихих весенних дней они снова вели задушевную беседу, и Исак снова плел свою паутину.

Годердзи, нежась на солнце, гордо восседал на бревнах, а Исак, пристроившись рядом, свесив руки меж колен и опустив голову, бубнил глухим голосом:

— В Тбилиси, дорогой начальник, у меня такие друзья, если захочу, луну с неба для тебя достану! Я помогу тебе вступить в жилищный кооператив, помогу хорошую квартиру получить, хорошо отделать, отремонтировать по всем правилам, хорошей мебелью обставить. Все тебе достану, что захочешь... будет у твоего сына своя квартира в столице. До каких же пор ему по общежитиям мыкаться? Хе-хе, будь у меня такой сын, ей-богу, на все бы ради него пошел, ни перед чем бы не остановился, в преисподнюю бы спустился!..

Когда Годердзи чувствовал, что соблазн становится слишком велик, он спасался бегством — вставал и уходил в свой кабинет. Здесь он считал себя в безопасности, как в неприступной крепости. И ведь правда, Исак не осмеливался уже следовать за ним, и беседа на бревнах прерывалась до следующего раза.

Однако в тот злополучный день Исак последовал за управляющим по пятам и смело вошел в кабинет. Златоуст-бухгалтер продолжал просвещать Годердзи в его же кабинете! Долго он разглагольствовал, под конец поднялся, стал перед начальником и уже другим, деловым тоном спросил:

— Как ты думаешь, по сколько нам с тобой на каждого придется, если ты мне отношение подпишешь, а я обеспечу доставку «левого» из Сибири?

— Откуда же мне знать! «Лево» и «право» мне в армии кричали, когда строевой ходьбе обучали. Был там у нас лейтенант один, только и орал: «левой», «левой», «левой»...

— Если хотя бы годик нам дадут так поработать, мы с тобой, самое меньшее, по одному миллиону будем иметь чистыми, понял? Миллион старыми деньгами! Каково, а?

— Чего, чего?! — разинул рот Годердзи.

— Отсчитаю тебе миллиончик чистыми, по старому курсу!.. А знаешь, как деловые люди миллион называют? Лимоном, вот как! Будет у тебя такой лимон!..

— Нет, нет, больше чтоб ты мне этого не говорил! — замахал руками Годердзи, и жилы у него на лбу посинели, взбухли.

Потом, словно чего-то испугавшись, он вскочил, растворил двери — воздуху, что ли, не хватало, — и, встав на пороге, пугливо огляделся по сторонам.

— Что ты, бог с тобой, да нас в порошок сотрут! От них разве что скроется?! Да и кроме всего, как я Вахтангу Петровичу в глаза глядеть буду? Он ведь меня сюда назначил... — обрел наконец дар речи Годердзи.

Исак громко расхохотался. Не понять было — это он нарочно или правда хохочет.

— К твоему сведению, Вахтанг Петрович давно уж ждет не дождется от тебя подношеньица и, ни-чего не получая, думает: здорово я маху дал, такую бестолочь на золотую жилу посадил... — подбавил яду оторопевшему управляющему змий-искуситель.

— Врешь! — в порыве отчаяния вскричал Годердзи. — Он порядочный человек!..

— А кто тебе говорит, что он не порядочный? Но разве порядочному человеку не хочется хорошей жизни? У него, знаешь, какие расходы на вышестоящее начальство? Откуда их покрывать, ежели сам он брать не будет? Ты думаешь, он откажется, коли дашь? Я

лучше тебя его знаю, у нас с ним дружба уже ^{многие} годы.

— Кто, кто, про кого ты, про Вахтанга Петрови-
ча?

Исак не ответил. Видно, что-то спешно обдумывал.

— Хочешь, я этого Вахтанга Петровича к тебе домой приведу?

— Кого, слушай, кого? Его? Ты?.. Ко мне?..

— Ты, брат, устрой один хороший кутеж, а остальное пусть будет за мной.

— Да кутеж я устрою!.. Такой кутеж устрою, что... Все сделаю, ежели правда...

— Дорогой начальник, ориентируйся на субботу. Вели приготовить хороший бозбаши по всем правилам, скажи Харитону, для Петровича, мол, хочу. Да напхни ему, чтобы обязательно из трехмесячного ягненка, мясо пусть мелко нарубит, мелко-мелко... Молочных поросят в тонэ зажарит, обязательно в тонэ, и обязательно целиком на вертеле, чтобы вертел не железный, а из многолетнего орешника. Да чтобы не забыл, когда до жарки сливочным маслом обмазывать будут, то не желтым, коровьим, а белым — буйволиным. Шашлыки из свиного филе жарить обязательно на дубовых углях, понял? Свиныю зарезать утром того же дня, не более чем за два-три часа до жарки шашлыков, чтобы обязательно годовалый боров и обязательно нашей грузинской породы, черный с пятнами, ни в коем случае не белый и жирный... жарить так, чтобы корочка хрустела. Черных курочек полугодовалых зажарить в кеци, чтобы зарумянились, к ним чесночную подливу. Маринованный чеснок отдельно, конечно. Лопатку отварную, только телячью, не коровью, с терновым острым соусом. Твое знаменитое «тавквери», с той лозы черного винограда «франгула»... И посмотришь тогда, как он время проводит... Да рядом с ним посади какую-нибудь смазливую девчонку, чтобы на гитаре играть и петь умела, и приведи еще трех-четыре хороших певцов...

— А девчонку-то откуда взять?

— Учительницу Марику знаешь? Которая все глаза строит да задом вертит. Ее и пригласи.

После того разговора бес попутал Годердзи, по-

кня ему не давал, все подзуживал да подначивал. Не которое время он вроде бы сопротивлялся проклятому бесу, потом постепенно поддался и пошел у него на поводу (а точнее, не у беса — у Исака).

Чем ближе подходила суббота, тем больше возростало волнение Годердзи. Он пребывал в сомнениях и нерешительности, подумывал даже отказаться от своего намерения. Но потом махнул рукой и — последовал совету Исака.

Это был первый случай, когда он так неукоснительно выполнил «указания» своего подчиненного.

В субботу вечером напряженное ожидание супругов дошло до предела от сознания значительности предстоящего события и непривычных хлопот. Оба они совершенно обалдели, бестолково суетились, как индюки, наклевавшиеся виноградных отжимок.

Малало к тому дню так вылизала весь дом, будто Вахтаг Петрович собирался в лупу рассматривать каждый уголок.

Блюда готовил знаменитый Харитон.

Годердзи с благоговением вскрыл объемистый кевври и наполнил высокогорлые кувшины рубиновым «таквери».

Вечером, когда смерклось, гости наконец прибыли.

Исак двумя днями раньше вручил Годердзи составленный им список лиц, которых надлежало пригласить. Следует заметить, что некоторых из них хозяин не знал даже в лицо.

И вот мягкие лиловатые сумерки прорезал слепящий свет фар — к воротам подкатила первая автомашина, ошарашив вконец растерянную чету Зенклишвили.

Годердзи рысью побежал отворять, и черная «Волга», скользя в широко распахнутые ворота, проселестела по ухоженной траве годердзиева двора.

Первым вышел Вахтаг Петрович. Его широкополая белая шляпа, подобно парусу, белела в полутьме.

За ним вышли: завотделом агитации и пропаганды райкома Бежико Цквинидзе, который на каждом со-

брани либо кутеже рьяно утверждал, что с назначением первым секретарем Вахтанга Петровича в древней истории Самеба началась качественно новая эпоха; следом — первый заместитель председателя райисполкома Маркоз Нозадзе, председатель райпотребсоюза Мамиа Эркомайшвили и необыкновенно оживленный Исак. Годердзи и не подозревал, что Исак способен так открыто, так весело смеяться.

Вахтанг Петрович приветствовал Годердзи и Малало необыкновенно почтительно и тепло, можно было подумать, кумовья встретились. Сразу стало ясно, что Вахтанг Петрович — человек искушенный в общении и в гостевании, знает, где как себя вести. Подметив, что хозяева несколько смущены и стесняются его персоны, он тотчас взял шуточный тон, раза два удачно сострил и — неловкость рассеялась.

С Годердзи он повел себя совсем по-свойски. «Я, — говорит, — слышать-то слышал, что жена у тебя красивая, но не думал, что она такая цветущая, точно роза, да величавая, ровно царица».

Малало при этих словах зарделась как маков цвет и сразу обрела уверенность, расплылась в улыбке и, стараясь пуще угодить гостям, завертелась юлой.

— Пока позовут к столу, неплохо бы сыграть в нарды, а? — сказал Исак и предложил Вахтангу Петровичу пройти для этого в соседнюю комнату, дескать, там уютнее.

Годердзи знал, что Исак прекрасно играет в нарды и редко проигрывает. Однако сейчас, наблюдая за его игрою, он диву давался — Исак неправильно располагал свои камни и ходы делал сплошь какие-то дурацкие... Видно, бедняга не на шутку растерялся, играя с первым человеком района, — заключил Годердзи.

Дандлишвили же проигрывал партию за партией, причем партии были очень уж скоротечными. Играли, должно быть, крупно, потому что Исак то и дело совал руку в карман и с хныканьем и кряхтением извлекал новенькие, похрустывающие сторублевки.

А Вахтанг Петрович все смеялся да хохотал, играл и рассказывал какие-то уморительные историйки, посмеивался над Исаком, подшучивал, мол, играть не

умеешь, и чего ты ко мне сунулся, поди найди себе партнера под статью.

Наконец, проиграв основательную сумму секретарю райкома, Исак поднялся и уступил место председателю райпотребсоюза.

Кругленький, толстенный, с красными пухлыми щечками Мамаи Эркомайшвили в отчаянии хлопал себя по толстым ляжкам, словно жирную отбивную котлету, все ладони отбил, и камни заговаривал, и изошрялся всячески бросить их поудачнее, однако игра у него никак не клеилась. Он тоже допускал невероятные промахи и, проиграв подряд несколько партий, просадил уйму денег. Да и как было не просадить, коли самые выигрышные положения он не мог использовать!..

Годердзи совершенно ясно видел, что и Мамаи играл на удивление глупо, иной раз чуть не специально давал противнику возможность «убить» его камень.

Годердзи недоумевал. «Что за притча, — думал он, — с чего это они оба играть разучились? Что за затмение такое на них нашло?».

Вахтанг Петрович, ободрив Мамаи как липку, продолжил сражение со следующим противником. Премник Мамаи, краснолицый Маркоз Нозадзе, тоже проиграл несколько партий кряду. Но самым потрясающим было то, что Маркоз, находясь в проигрышном положении, почему-то объявлял «дав», то есть ставил условие, заключавшееся в том, что проигравший удваивает ставку, а ведь это делает игрок, находясь в выигрышной позиции.

А Вахтанг Петрович все похихикивал да похохатывал. Время от времени, закончив очередную партию, он непринужденно откидывался на спинку стула и, притворно посерьезнев, рассказывал какой-нибудь веселый анекдотец и под общий смех, как бы между прочим, не глядя, небрежно совал в карман очередную сторублевку.

Особенно удивило Годердзи то, что все три партнера Вахтанга Петровича расплачивались именно сторублевками, да еще совершенно новенькими. Казалось, других ассигнаций для них и не существовало.

Во время одной из последних партий, когда председатель райпотребсоюза проиграл самую крупную ставку — «дав-беши» и вытащил из кармана шесть хрустящих купюр, у Годердзи в голове искрой вспыхнула странная мысль: интересно, откуда у них, у каждого, столько денег при себе, не специально ли прибежали?

И следом возникла и утвердилась другая мысль: «Да ведь они нарочно проигрывают, мерзавцы!».

Когда Вахтанг Петрович обобрал всех подчистую, он наконец закончил игру в нарды и, сладко потянувшись, встал.

Карманы его заметно оттопыривались.

— Эх вы, играть не умеете, а туда же тянетесь, — шутливо пожурил он ограбленных партнеров и, явно довольный, весело (и на этот раз, кажется, искренно) расхохотался.

— Человек и его характер проявляются во всем, и в игре, и в делах, и в радости, и в печали, — патетически резюмировал заводителем пропаганды, который обожал широкие умозаключения и обобщения, тем более если они сулили ему какую-то пользу. А что похвалы начальству приносят гораздо больше пользы, нежели порицания, Бежико Цквитинидзе давно хорошо усвоил.

— Вы мне говорили, якобы хозяин наш — человек хлебосольный, — заговорил Вахтанг Петрович. — А я что-то не вижу этого, он нас едва с голоду не умерил, столько времени за нардами заставил просидеть. Или, раз твой подчиненный проигрался, ты нас уже не собираешься к столу звать, любезный хозяин? — обернулся он к Годердзи.

И началось... Во главе стола усадили Вахтанга Петровича. Рядом с ним — учительницу Марику. Она все это время крутилась, вертелась, сновала туда и сюда, будто бы помогала (а на самом деле больше мешала) Малало накрывать на стол. Марика была женщина общительная, жизнерадостная, кокетливая и к тому ж — в самом, что называется, соку.

Годердзи вот уже несколько дней готовился быть тамадой — ведь в традиционном грузинском доме тамадой должен быть обязательно хозяин, таков обычай. Он вот-вот уже хотел поднять первый тост, и

вдруг этот выскочка (так назвал он в душе Бежико Цквитинидзе) вскочил и предложил выпить за Вахтанга Петровича, «нашего дорогого и бессменного тамаду».

Все поднялись и стоя осушили бокалы в честь новоиспеченного тамады.

Годердзи опешил. Он сроду не слыхивал, чтобы посторонний человек в доме, гость, избирал тамаду, тоже гостя. Он до того растерялся, что некоторое время слова не мог вымолвить.

Вахтанг Петрович даже ради приличия не стал отнекиваться и отказываться. Куда там! Свое избрание он принял как нечто само собой разумеющееся, поблагодарил, как положено, за честь, встал и первый тост провозгласил за процветание дома Зенклишвили: «Пусть, — сказал он, — наша нога будет счастливой для этой семьи».

Говорил он долго, цветисто и пышно. Припомнил даже труд Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и с многозначительностью мудреца заключил: семья была, есть и будет основной ячейкой жизни, и мы должны хранить как зеницу ока ее чистоту, прочность, неприкосновенность. Семью Малало и Годердзи Вахтанг Петрович объявил прекраснейшим образцом грузинской семьи вообще и умножение таких семей признал залогом процветания всей Грузии.

Гости сразу развеселились. Певцы, которых пригласил Годердзи, после каждого очередного тоста тамады стройными голосами запевали какую-либо из застольных песен, словом, пир в плохоньком домишке Годердзи шел горой.

Время от времени и Годердзи, разохотившись, начинал подпевать певцам, и его звучный густой баритон придавал песне особую прелесть.

Учительница Марика сидела не шевелясь, словно прилипнув к стулу. Вахтанг Петрович, обняв ее за плечи, нашептывал ей на ухо какую-то, видимо, очень забавную историю, и она заливисто смеялась.

Надо отдать справедливость Вахтангу Петровичу,

них свысока, и все свои положения подкрепил высказыванием Сталина о работниках сферы обслуживания...

Сотрапезникам это особенно понравилось, ибо упоминание Сталина ему, официальному лицу, зачтено было как проявление особого гражданского мужества.

— К работникам торговли мы зачастую несправедливы, — продолжал витийствовать Вахтанг Петрович, — потому что мы все еще плохо разбираемся в хозяйстве, мы плохие хозяйственники, плохие экономисты, плохие организаторы, плохо ведем торговлю. Каждый руководитель в то же время должен стать и экономистом, бороться за рентабельность. Мы должны быть смелыми, прозорливыми и инициативными хозяйственниками. В этом отношении Америка нас здорово опережает. С одним только умением администрирования, без знания экономики и бухгалтерии дело двигаться не будет, потому-то на многих участках хозяйствования у нас ничего не получается...

— Исак именно тот человек, — заключил под конец секретарь, — который сейчас нам очень и очень нужен: инициативный, трудолюбивый, преданный своему делу, неутомимый, энергичный... — и много еще красных слов было сказано им в адрес Исака Дандлишвили.

Годердзи переводил удивленный взгляд с секретаря на Исака, который стоял, потупившись, застенчиво улыбаясь, ни дать ни взять — олицетворение скромности и порядочности. Годердзи недоумевал, как это до сих пор он не распознал, что Исак такой необходимый человек, такой великий хозяйственник, да еще так накоротке с секретарем райкома.

— Я знаю Исака Дандлишвили еще с тех времен, когда он работал главным бухгалтером автобазы, — как бы в ответ на его мысли произнес Вахтанг Петрович. — После того он был главным бухгалтером межрайонной ремонтно-строительной конторы, и всюду проявил себя с самой лучшей стороны. Когда мы решили открыть самобскую базу «Лесстройорга», я тотчас вспомнил о нем и пригласил его на эту должность.

Георгий Цицишвили. Одрей алчность свою.

Я знал, что такие блестящие работники, как Годердзи и Исак, обязательно найдут общий язык, и вот, друзья мои, теперь мы все видим, что так оно и произошло.

Поскольку сам первый секретарь расхвалил Исака, остальные до того усердствовали, что утратили всякое чувство меры. Выяснилось, что второго такого изумительного специалиста и человека, как Исак Дандлишвили, во всем подлунном мире не существовало.

В своем благодарственном тосте, довольно складно построенном и с чувством произнесенном, Исак подчеркнул важность преобразований, которые происходили в Самебском районе под руководством Вахтанга Петровича, коротко коснулся роли лесстрой-торговской базы и заверил руководство района, что не пожалеет сил для совершенствования стиля работы.

Гости разошлись, когда уже начало светать. В звонкой тишине далеко-далеко разносились их громкие и веселые хмельные голоса, выкрики, одобренные по-крестьянски солеными словечками, пение вразброд, и все это надрывало сердце Годердзи, потому что впервые случилось так, что в доме у него был кутеж и ни один из соседей не был приглашен.

Он знал, что сейчас никто из них не спит, что все они с тайной завистью, обидой и любопытством прислушиваются к ночному переполоху.

На следующий день Исак Дандлишвили не показался ему таким угрюмым и хмурым, каким бывал обычно. Исак одобрил кутеж и долго расхваливал дом и хозяйку Годердзи.

— У тебя, мой любимый начальник и близкий моему сердцу сын отечества, и вправду замечательная семья, — умиленно щуря глаза и воздевая руки, велеречиво говорил Исак. — Когда мы возвращались домой, Вахтанг Петрович захлеб тебя хвалил. Слышал бы ты, что он говорил, как отзывался о тебе! — тут Исак помедлил. — И ты знаешь? Он даже пожалел тебя: такой человек, глава такой редкой семьи — а ютится в курятнике! Неужели, сказал он, Годердзи Зенклишвили не в состоянии выстроить себе приличный дом!..

Говоря все это, Исак исподлобья метал взгляды на Годердзи.

Управляющий базой был явно доволен. Раскрасневшийся, сияющий стоял он перед главным бухгалтером и, верно, от смущения расчесывал железным гребнем свои густые волосы.

Затем Исак перекинулся на Вахтанга Петровича.

— Второго такого талантливой организатора и опытного партийного работника во всей республике не сыскать, наш секретарь в высшей степени предусмотрительный и прогрессивный человек, — разглагольствовал Исак вкрадчивым голосом. Потом приблизил свое узкое лицо к Годердзи и почти шепотом произнес: — Чего от тебя скрывать, он с руководителями республики — вот так, — и сцепил согнутые указательные пальцы, изображая, как это «вот так», — но и они высоко его ценят, очень высоко. Когда приезжают в Картли, только у Вахтанга Петровича останавливаются. Ну, а он-то не из таковских, знает, как встречать, как привечать гостей. Вахтанг Петрович, милый ты мой, лицом в грязь не ударит! До того он изучил их характер, вкусы, привычки, слабости, прямо наизусть знает, что они любят, а что — нет. Так он умеет угодить начальству, что они на руках готовы его носить!

Теперь вот самое высокое начальство республики решило на том берегу Дзамы, возле Земочала, у истока Нодарова ручья, — ах, какое чудное место для кутежей! — там вот хотят охотничий домик поставить. Охотничий домик и одновременно приют для почетных гостей, гостевой домик, значит. Ну и строительство домика поручили Вахтангу Петровичу. И проект он должен заказать, и смету составить. «Первый» сказал, чтобы денег не жалели, главное, как можно лучше построить, и внутри все чтобы как следует быть, красиво и богато чтобы...

Когда начнется строительство, я по совместительству буду там бухгалтером. Так сказал Вахтанг Петрович. Нам, говорит, верный человек нужен, чтобы без промашек, не то нос высунуть нельзя будет...

— Ясно, уж раз поручили... конечно...

— Только это очень трудное дело. «Первый» сказал нашему секретарю, что из республиканского бюджета копейки дать не сможет, вы, говорит, должны

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

выстроить гостевой дом на средства района, на сбережения. А какие средства и сбережения у нашего района? Если бы мы были цитрусовым районом или чайным, или виноградарским, тогда будь здоров, имели бы средства, а сахарная свекла и картофель да малая толика хлеба какой доход дают? Вот и озабочен наш Вахтанг Петрович!...

...Не скрою от тебя, он ищет верных людей, чтобы с нашей помощью повернуть как-нибудь это важное дело. Мы должны помочь ему во что бы то ни стало. Надо его поддержать, понял? А как же, не бросать ведь нашего Вахтанга Петровича одного!.. Совесть надо иметь! Он этого не заслуживает, не-ет!

— Да, но мы-то что можем? — захлопал ресницами Годердзи.

— Э-э-э! Как это, что можем! Да разве не в наших руках весь стройматериал?

— Пожалуйста, пусть прикажут, и мы все им продадим, разве нам не все равно, кто купит, пусть только деньги платят.

— Ах, дорогой начальник!.. Ты либо придуришься, либо и вправду плохо разбираешься в ситуации...

— Исак, ты не очень-то, малость полегче, а то, знаешь, я все тот же Годердзи Зенклишвили, как шандарахну, мокрого места от тебя не останется! — вспыхнул управляющий базой.

— Ну чего ты, ей-богу!.. Ну, конечно, я знаю, что ты Годердзи Зенклишвили, и очень тебя люблю, и уважаю, и ценю, что и говорить! Я только о том волнуюсь, что ты в корень не смотришь...

— Значит, я в корень не смотрю, а ты, чертов ты сын, смотришь? — и Годердзи загнул любимое выражение.

Исак осекся, поняв, что хватил через край и шеф разозлился не на шутку. А это во всех случаях было нежелательно и опасно.

Поэтому он благоразумно переждал, пока гнев Годердзи несколько улегся, вытащил пачку сигарет, предложил шефу, зная по опыту, что тот, бывая не в духе, обычно курил. И сам закурил. Помолчал, попытал сигаретой, потом, заметив, что Годердзи поостыл,

поднял кверху правую руку и со всей убедительностью, на которую был способен, произнес:

— Клянусь своей десницей, у меня и в мыслях не было тебя обидеть... Я только хочу, чтобы ты лучше разобрался в ситуации. Если же ты этого не хочешь, я и вовсе замолчу. Чего не хочешь — того не дай тебе господь!

— Ладно, валяй! Говори, что хотел сказать. Я не красная девица, чтобы со мной антимонии разводиться.

— ...Вот ты говоришь, что пускай, мол, даст мне деньги, а я ему материал дам. Да кто тебе деньги-то даст? Где они, эти деньги? Ты не понимаешь, что район на свои средства, из своего бюджета будет строить? Значит, районные организации должны сложиться, распределить между собой все расходы, и каждый внесет свою долю. И ты, ежели ты и вправду патриот своего района, должен так же поступить, а нет, так, знаешь, у Вахтанга Петровича спина крепкая, а руки длинные, не таких, как мы с тобой, а любого, почище нас, покрупнее нас, как хряков, охолостит!

— Да, но как я могу выдать материал? Если я стану все тут разбазаривать, меня и вправду охолостят.

— Э-э, не будь ребенком, это дело простое, я тебя научу всему, что надо делать.

— Ты смотри на него, он меня научит! На кой шут мне твоё учение! Ведь ежели до дела дойдет, не с тебя, а с меня спросят... Что я тогда отвечу? Исак, мол, научил?

— Э-э, — сморщился Исак в презрительной гримасе, — прежде чем с тебя, с меня спросят, я бухгалтер, а не ты. Коли я говорю — научу, это значит, что ни с меня не спросят, ни с тебя не смогут спросить, понял? Если хочешь, скажу сейчас, как мы должны поступать, а нет — воля твоя, пожалуйста!.. — и Исак повернулся было уходить.

— А как же все-таки? — чуть помешкав, заинтересовался Годердзи.

— Как, да так, за счет «левого», о котором я тебе давеча толковал...

— Ох, Исак, подведешь ты меня под монастырь! Чует мое сердце, добром такое дело не кончится...

— Да ладно, начальник, чего ты трусишь! Вот уж не думал, что ты такой боязливый! Под какой это монастырь я тебя подведу, когда и райком с нами заодно, когда и они, и мы одно дело делать будем!

— Если это самое «дело» не выгорит, они тотчас от нас отступятся, уж я хорошо их знаю, пока ты силен, они с тобой, а чуть запнешься, оскользнешься, они первыми тебе пинка дадут.

— Вахтанг Петрович не такой человек, его хоть вешать будут, он друга в беде не оставит. Да, наконец, ведь это желание руководителя республики, кто против пойдет? А вот ежели мы в сторону вильнем, нам того не простят.

— Мы совсем бесплатно должны материал выдать?

— Совсем.

— Мать честная, ну и в переделку мы попали!

— В переделку ты попадешь, коли не поможешь району в трудный момент, коли не поддержишь инициативу райкома, вот и окажется, что мы с тобой не патриоты, не радеем о своем районе, ото всех отстаем...

— Ну хорошо, но ведь если мы совсем бесплатно им выдадим, из каких же средств расходы покроем?

— Ты послушай меня хорошенько, и все поймешь: когда мы получим этот «левый» товар и реализуем его, прибыль будет огромная. Даже если весь «левый» по твердым ценам загоним, все равно. Так вот, тем, кто нам этот «левый» прислал, поставщикам то есть, мы должны будем сорок процентов, то есть меньше, чем полцены, понял? Дело выгодное, очень выгодное, уж ты мне поверь. Это для «левого» закон — выгоду дает большую...

Так вот, затем, сударь мой, пятнадцать процентов положено нашему начальству. Им все известно, потому и доля полагается. Десять процентов — местному руководству, а пять — сохраняем для ревизоров. Остальные тридцать процентов чистыми наши!.. Но эти тридцать процентов считаются от продажи материала по установленной цене. А мы-то не по этой цене продавать будем, а самое меньшее раза в полтора дороже... Поэтому фактически у нас останется пятьдесят

процентов от продажи всего материала, всего поступившего материала, понял?

Все это должно быть самой большой нашей тайной. Если тебя на расстрел поведут, ты и тогда не должен признаться, — дескать, ничего не знаю, и basta! Пусть догадываются, пусть говорят, — мы должны начисто отрицать: нет и нет!.. Об этом ни одна живая душа не должна ничего знать, ни-ни! Кроме трех человек: меня, тебя и Серго. Эти пятьдесят процентов составят столько, что мы сможем дать им в зубы и ту сумму, которая необходима на строительство этого чертова охотничьего или гостевого домика, пропади он пропадом, пусть подавятся, и нам с тобой столько останется, что мы не в убытке будем! Уж ты мне поверь, Исак считать умеет! Пусть хоть со всего мира математики соберутся, проверяют — никто меня ни на чем не поймает! Клянусь своим счастьем...

— Охо-хо, это что же такое, а, — покачал головой потрясенный Годердзи. — Как все связано, увязано друг с другом, мать честная!..

— Такова жизнь, дорогой начальник, такова жизнь. Ведь еще Маркс и Энгельс доказали, что все в этом бренном мире взаимосвязано, все друг с другом взаимодействует, в этом, говорят они, суть диалектики. Так почему же мы должны противоречить этой диалектике, не взаимодействовать? А какое может быть взаимодействие в гиблом деле? Взаимодействие должно подразумевать лишь выгоду. Веретено крутится, крутится, нить прядется, так было, так есть, так будет!..

— Исак, ты присмотри тут, а я пойду, пожалуй, домой, голова чего-то разболелась, сосну немножечко, авось пройдет. Эта математика и проценты, сказать правду, в печенках у меня сидят, никогда их терпеть не мог... Разрази господь того, кто их придумал, не будь их, как спокойно бы жили люди!..

На следующее утро Исак вошел в кабинет Годердзи с еще более деловым видом, чем обычно.

— На вот, подпиши, — сказал он и положил ему на стол какую-то бумажку, отпечатанную на машинке.

— Это что такое? — спросил Годердзи, сразу как-то сникнув, и устремил на бумажку такой взгляд, словно перед ним падаль положили.

— Отношение, о котором мы с тобой вчера толковали...

— Слушай, да можно так наседасть на человека? Креста на тебе нет, ей-богу! Обожди малость, дай дух перевести. Я еще не обдумал, ты же понимаешь, все надо взвесить, со всех сторон обмозговать. Говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь...

— Не хочешь — как хочешь, очень мне надо, в конце концов! — впервые за все их знакомство Исак вышел из себя, схватил бумажку, со злостью скомкал ее и сунул в карман.

— Да погоди ты, не кипятись! Дай подумать! Нельзя же так, с бухты-барухты! И откуда ты такой на мою голову взялся!..

— Ты, милый человек, давно уже все только думаешь и думаешь. По твоей милости вот уже полгода мы здесь небо коптим. Ты себя так ведешь, будто это только в мой карман должно пойти!.. Голова этому делу — ты, не хочешь, не надо, вот и все, шабаш! — взбешенный Исак выскочил из комнаты, так хлопнув дверью, словно вышибить ее хотел, да напоследок такой мат загнул, что даже Годердзи поморщился.

Весь тот день управляющий просидел в своем кабинете, погруженный в глубочайшие размышления.

Бухгалтер к нему больше не заглядывал — тоже заперся в своей комнате, строго-настрого наказав девушке-счетоводу, чтобы никто к нему не входил — я, мол, занят квартальным балансом.

Когда рабочий день подошел к концу, Годердзи вызвал к себе главного бухгалтера.

Исак явился, однако не сразу — раза три заставил себя звать.

— С каких это пор ты перестал мне повиноваться? — рявкнул на него Годердзи.

— Начальник, говорится, когда в парикмахерской сидишь, не спорь с брадобреем: у него в одной руке твоя голова, в другой бритва. И когда в лодке сидишь, с лодочником не ругайся. Бухгалтер тот же брадобрей: коли что не понравится, может и бритвой по шее полоснуть, и тот же лодочник: когда вздумается, раз

— и вывернет лодку, утопит. Я-то для тебя кроме добра ничего не хочу, а ты меня не ценишь и не веришь мне. Разве мне это не обидно?

— Ладно, ладно, покажи, что там у тебя в той бумажке написано...

— Да зачем, ты все равно ее не подпишешь.

— Покажь, говорю!

Исак протянул ему уже разглаженную и аккуратно сложенную бумажку и сел.

Долго читал отношение Годердзи Зенклишвили. Читал, вникал, и мозг его работал с лихорадочной быстротой.

«Здесь вроде и вправду ничего страшного не написано, — думал он. — Мы просим, чтобы сверх лимита, если есть у них возможность, прислали бы нам сколько-то кубометров лесоматериала, — размышлял он, читая отношение. — Я прошу официально, по закону, а пришлют они «левый» или «правый» — откуда мне знать? И вообще это не моя забота.

...Да, пока что здесь ничего страшного нет. Сырбор, видать, после разгорится, но до тех пор времени много. Что ж, попробуем, поглядим... а если я увижу, что дело это не по мне, весь материал, поступивший по этому отношению, оприходуя, и продам его тоже официально... Эх, Исак, Исак! Где это видано, чтобы маленький чертенок большого черта одурачил!..»

А вслух он сказал:

— Ладно, подпишу. Но запомни, вся ответственность на тебе, я знать ничего не знаю. Идет?

— Идет, — бодро отозвался Исак, и легкая улыбка скользнула по его тонким губам.

— Э-эх, была не была! — махнул рукой Годердзи и жирно расписался. — Давай-ка теперь, забирай да и посылай куда следует, и — дай бог, чтобы все кончилось благополучно!

— Аминь, — повеселевший Исак так же аккуратно сложил бумажку и положил ее в нагрудный карман. — Вот так! Хе-хе, теперь-то мы станем настоящей базой!..

Без малого месяц спустя после того памятного дня на базе «Лесстройторга» затрезвонил телефон:

звонили с железнодорожной станции, сообщали, мол, в ваш адрес поступили вагоны, груженные лесом, забирайте его побыстрее, не то будете платить штраф за простой вагонов.

Исак и Серго, услышав это, заметались, забегали, точно голодные волки в клетке при виде пищи.

Исак, совершенно ошалелый, влетел в кабинет Годердзи, трясущейся рукой протянул ему доверенность — печать, мол, поставь, и так поспешно выхватил обратно эту доверенность, что опешивший управляющий базой не успел и глянуть, на сколько кубометров она была выдана.

Заполучив документ, Исак сперва заперся в своей комнате и долго щелкал на счетах, потом сломя голову помчался на станцию, прихватив с собой сияющего Серго.

Целых три дня ушло на разгрузку вагонов, перевозку леса со станции и размещение его на базе.

Спасибо Вахтангу Петровичу, помог грузовиками и рабочими, а то и в две недели не управились бы с этой работой.

Когда все закончилось и база заполнилась лесоматериалом, Исак категорически потребовал дать ему еще два дня, я, мол, должен все зафиксировать, а уж после начнем продавать. Хитер был чертяка, хитер, — хотел, чтобы весть о поступлении лесоматериала распространилась как можно дальше.

И не ошибся в своем расчете: в пятницу утром, едва распахнулись огромные зеленые ворота «годердзиева склада», народ хлынул во двор. Въезжали машины всех видов, арбы, телеги, тракторы, тягачи, двуколки, старинные дроги и фургоны.

Серго, приветливый, любезный, обходительный, проворный, вертелся волчком, бухгалтер и кассир едва поспевали принимать деньги и выписывать квитанции.

А Исак, как цапля, шагал от штабеля к штабелю, вроде бы невозмутимый и равнодушный, а в уголках глаз играла радость. От штабеля к штабелю — и в кабинет шефа, а тот сидел, надувшись от сознания важности момента.

— Ты только глянь, сколько клиентов к нам привалило! — восторженно обратился к нему Исак.

— Эге-ей, — отозвался Годердзи, — был бы мед, а муха из самого Стамбула прилетит!

Управляющий был радостно возбужден, но и точку напуган. Щеки у него горели, речь стала быстрее, чем обычно, в кресле он не сидел — ерзал беспокойно, и каждому, кто к нему входил, испытующе заглядывал в глаза. У него был такой вид, словно всю эту кутерьму только для его удовольствия и затеяли, для того, чтобы он всем показал, вот, дескать, какой я всемогущий, что завертел.

А лес между тем раскупали и увозили, увозили...

Откуда только ни понаехали покупатели: из Мцхета и Каспи, из Гори и Хашури, из Боржоми и Сурами... Даже из Тбилиси...

Забирали все подряд, ничего не браковали, ничем не пренебрегали, ни о чем не спорили — только бы заполучить драгоценный материал...

На глазах таяли огромные пирамиды чисто распиленных досок, бревен, балок — все из отличнейших хвойных пород...

Кто тут спрашивал цену, кто доискивался до тонкостей, кто проверял, верно ли считает краснощекий бойкий Серго, не выдает ли кубометр за полтора...

Бухгалтер и завскладом не помнили ни о еде, ни об отдыхе. Вспотевшие, раскрасневшиеся, метались они туда и сюда, ожесточенно жестикулируя, тараша сверкающие глаза, возбужденно вели торг. А каждый из покупателей норовил залучить в сторонку кого-то из них, договориться о чем-то с глазу на глаз...

Ко вторнику лесоматериал был полностью продан и вывезен.

Если до сих пор основная нагрузка лежала на Серго, то теперь на первый план выступил Исак. До глубокой ночи сидел он за своим бухгалтерским столом вместе с невзрачной, неразговорчивой и деловитой девушкой-счетоводом и усердно подсчитывал, вычислял, писал, перекладывал с места на место отдельные бумажки, с поразительной быстротой щелкал на счетах, крутил ручку арифмометра.

Спустя неделю после поступления товара Исак вошел в кабинет начальника. Вошел несколько необыч-

но: остановился на пороге, обернулся назад, подозрительно оглядел коридор и видневшийся в растворенную входную дверь двор.

УДК 82.09
ББК 84.001.09

На базе был объявлен перерыв.

Во дворе никого из посторонних не было.

Серго куда-то скрылся.

Девушки — счетовод и кассир сидели на траве в тени и о чем-то разговаривали.

Не спеша пересек двор Баграт — нес еду собакам, громко кляня и ругая их неизвестно за что.

— Это твоя доля, здесь тридцать тысяч рублей, — тихим голосом проговорил Исак и положил перед Годердзи завернутый в газетную бумагу сверток, перетянутый шнурком.

— Ох, — встрепенулся управляющий базой и так резко откинулся назад, на спинку стула, будто перед ним не сверток с деньгами лежал, а ядовитая змея.

— Исак, ты меня до тюрьмы доведешь, — почти с мольбой проговорил Годердзи.

— Э-э-э, — Исак по обыкновению заgrimасничал, — да не трясись ты, бога ради, как контуженный! Кому теперь до тебя! Возьми это и положи в карман, да живее, пока никто не вошел...

Годердзи, словно только и ждал повеления Исака, не взял, а схватил сверток, поспешно выдвинул ящик стола, резким движением бросил в него сверток, молниеносно задвинул ящик и, налегши на него животом, выпрямился в кресле. С минуту он глядел на Исака, сидя неподвижно и прямо, словно кол проглотил. Лицо его побагровело.

Исак усмехнулся своей непонятной усмешкой, вышел и плотно закрыл за собой дверь.

Прошло еще немного времени...

С железнодорожной станции опять начали трезвонить: прибыли ваши вагоны, забирайте товар.

Опять поднялась страшная суматоха на базе.

Опять во дворе иголке упасть негде было.

Опять въезжали и выезжали автомашины всевозможных марок и видов.

Опять забегали раскрасневшиеся, вспотевшие Серго и Исак.

Словом, все повторилось от начала до конца как в прошлый раз.



Но на этот раз Годердзи был страшно удивлен.

Он вызвал Исака и, пытливо глядя ему в глаза, спросил:

— Слушай, я ничего не понимаю: ту первую партию мы попросили, и они нам прислали. А это что за чертовщина? Этого-то ведь мы не просили? В чем дело, кто нам присылает? Выходит, без меня меня женили, что ли?

— Э-э, — махнул рукой Исак. — Ты на плоды смотри, чего садовника разглядываешь! Чем эта партия хуже той? Эта тоже нам не повредит, как и первая, будь уверен.

С этими словами он повернулся и вышел.

Во дворе его ждала и гомонила целая толпа, кто с рекомендательными записками, кто без записок.

Видать, распределение лесоматериала было делом прибыльным, коли Исак из рук его не выпускал и распределял лесоматериал сам, по собственному усмотрению, даже не спрашивая управляющего.

Годердзи не стал вмешиваться. Стушевался. Только удивительно ему было — он и не предполагал, что вопрос, кому что продать, был столь важным и, по-видимому, прибыльным.

Нервное напряжение последнего времени заметно повлияло на Годердзи. Он стал каким-то неподвижным. Придет, бывало, утром на работу, войдет в свой кабинет, усядется в кресло, и иной раз день подойдет к концу, а он ни разу не встанет, так сиднем и просидит. Ни на свои любимые бревна не поднимался, ни на Куру не глядел, с утра до вечера, пока домой не идти, просиживал в кабинете, — можно было подумать, он от кого-то хоронится.

А во дворе базы стоял несмолкаемый гомон и гвалт. С утра раннего до сумерек раздавались громкие голоса, слышались просьбы, клятвы, изъявления благодарности, перебранка. Жизнь во дворе базы была ключом.

И все голоса, все звуки время от времени перекрывал пронзительный, с хрипотцой, голос Серго: «Миша-а! Ирод окаянный! Куда ты запропастился, черт тебя дери!.. Баграт, ох, чтоб тебе ни дна ни покрыв-

ки! Сказал ведь я — сюда складывай, балбес этакий!.. — и так далее и тому подобное.

Реализовали и вторую партию.

Опять Исак уселся за бумаги, опять защелкал костяшками счетов.

А в понедельник, уже под вечер, опять с теми же предосторожностями вошел в начальников кабинет и с теми же словами положил перед ним на стол сверток в газетной бумаге:

— Это твоя доля, на доброе здоровьице, здесь срок.

Управляющий на этот раз спокойнее отнесся к довольно увесистому свертку, не отпрянул, точно от змеи гремучей, как в тот, первый раз. Выдвинул ящик, сбросил в него сверток. Руки у него все-таки немного дрожали.

Исак остался доволен.

Поздней ночью, когда супруги готовились отойти ко сну, Малало внесла в комнату таз с горячей водой, чтобы Годердзи обмыл ноги. Так уж она его приучила, и без этой ежевечерней ножной ванны он бы, пожалуй, и не уснул.

Годердзи в одном исподнем, разувшись, сидел на кровати и сосредоточенно разглядывал пальцы ног, шевеля ими в разные стороны.

Неожиданно в дверь постучали.

— Кто бы это мог быть в такую пору? — удивилась Малало.

На пороге возник Исак Дандлишвили.

У Годердзи екнуло сердце. Он впился глазами в бухгалтера и звука не мог вымолвить.

— Эх, вот если бы и у меня такая заботливая жена была, я бы до ста лет жил припеваючи!.. — вместо приветствия проговорил Исак, скаля испещренные червоточинами желтые зубы.

— А ведь сказывают, у тебя их целых три, жены-то, — не растерявшись, тотчас парировала Малало, — одна здесь, вторая в Тбилиси, третья — в Ахалкалаки.

— А кто считал, сватья, кто считал, может и больше, — опять ухмыльнулся Исак. Он явно был в прекрасном расположении духа.

У Годердзи отлегло от сердца. Значит, ничего страшного...

— Что тебя заставило прийти в такую позднюю пору? — спросил он.

— Дело, начальник, дело.

Исак умолк и исподлобья посмотрел на Малало. Та перехватила его взгляд и, смекнув, что гость хочет остаться наедине с Годердзи, подхватила таз и вышла.

— ...Дело, дорогой начальник, оно не разбирает, когда поздно, когда рано. Как только напомним о себе, тотчас же надо им заняться. Ежели только со второго напоминания за него возьмешься, полдела ты уже потерял, то есть проиграл. А с третьего раза оно и вовсе из рук вон ушло, то есть пропало начисто, ага!..

Он смолк и выжидательно уставился на Годердзи. Годердзи тоже молчал.

— Ты как думаешь, начальник, — пристально, с лукавинкой глядя в глаза Годердзи, заговорил Исак, — Вахтаг Петрович не знает про то, что мы получили те две партии лесоматериала? Или ему ничего не стоило подбрасывать нам людей и машины? Или ты считаешь, что только из уважения к тебе нас не беспокоит ни ОБХС, ни народный контроль, ни черт, ни дьявол со всеми их приспешниками?.. Так вот, на добро добром отвечать надо. А то как же ты? Мы пользуемся, а другим вредно, или им не надо? Ты же знаешь мудрейшую из мудрейших поговорку, которую народ сложил: сам ешь, и других корми. И прежде так оно было, и теперь так оно есть. В одиночку, знаешь, кто ест? Мы ведь тем свиньям не уподобимся. Мы люди, по-людски должны все делать. Так-то, начальник. Скажи сам, прав я или нет?

— Говори покороче, чего зря лясы точить, — глухо произнес Годердзи.

— Короче, вот это вот, — он вытащил из обоих боковых карманов брюк по большому свертку в газетной бумаге, — это ты должен вручить Вахтагу Петровичу.

— Что это? — ужаснулся Годердзи.

— А то самое, что ты уже получил. Ты их должен вручить Вахтагу Петровичу.

— Я?!

— Ага, ты. Ты руководитель учреждения, значит ты и должен это сделать. А как же, это твой долг!

— Нет, дорогой Исак, я это сделать не могу!

— Ха-ха-ха, посмотрите-ка на него, он это сделать не может! А брат можешь? Кто брат любит, тот и давать уметь должен. А как же!

— Исак, я постарел, но взятку, да еще своей рукой, никому не давал, как же теперь смогу дать? Да еще кому-кому — Вахтангу Петровичу! А что, если он разгневается и выбранит меня, пристыдит, скажет, совести, мол, у тебя нет!

— Ну, ты, брат, знаешь, совсем тогось... Человеку деньги даешь, а он тебя выбранит и пристыдит? Ты откуда такой взялся, а? С луны, что ли?

— Нет, нет, прошу тебя, Исак, уж ты меня уволь, сам их и отдай, я не могу.

— Начальник, знай, у меня с Вахтангом Петровичем свои счета. Ежели я ему это вручу, он решит, что даю опять за то же, за что раньше давал, ну, то есть, по другому делу, понял? А наш с тобой общий долг так долгом и останется. Пойми ты, милый человек, не запутывай все на свете!

— Охо-хо-хо, ну и задачу ты мне задал! Человеку в глаза смотреть и взятку в руки совать...

— Вот тебе и на, ясно, в глаза надо смотреть, а куда же! Да вообще я не понимаю, тебе-то чего стыдиться и стесняться, он же берет, не ты! Послушай меня: Вахтанг Петрович умный человек, он сам тебе дело облегчит. Ты вот отнеси и увидишь, какой он человек, все как по маслу пойдет. Он сам тебе ящик выдвинет, а ты в ту же минуту — жик! — и забрось в ящик. Точно так, как ты свою долю в свой ящик забросил! Давай, начальник, действуй!..

На исходе следующего дня Годердзи сидел в новой, шикарно обставленной приемной Вахтанга Петровича.

За последнее время здание райкома сильно изменилось. Снаружи его оштукатурили, стены первого этажа облицевали бледно-зеленым с прожилками тэд-замским туфом, надстроили еще один этаж, двери и окна везде поменяли, поставили все сплошь новые рамы из каштанового дерева, стекла толстые, зеркальные...

Интерьеры тоже здорово изменились.

Стены покрыли полированными дубовыми панелями, полы — узорчатым линолеумом. По лестницам — ковровые дорожки красные, по коридорам всюду — лампы дневного света, на видных местах развесили портреты руководителей государства, выдающихся политических деятелей, а также знатных людей района, да под каждым портретом своя биографическая справка, отпечатанная типографским способом.

Годердзи сосредоточенно рассматривал зримые плоды кипучей организаторской деятельности Вахтанга Петровича. Время от времени он украдкой бросал взгляд на карманы своих старомодных широких брюк, проверяя, не выпирают ли те два тугих свертка в газетной бумаге, которые он рассовал по одному в каждый карман.

Вахтанг Петрович долго продержал его в приемной. Не позвал, пока не вышел из кабинета последний посетитель. Наконец смазливая, вертлявая секретарша, широко распахнув дверь, вежливо обратилась к нему:

— Вахтанг Петрович просит вас... — и с улыбкой уступила ему дорогу.

В огромном кабинете за огромным, поблескивающим полировкой письменным столом восседал Вахтанг Петрович.

При виде Годердзи он учтиво поднялся с кресла, протянул ему руку, осведомился о здоровье, пригласил сесть.

Сердце у Годердзи гулко колотилось. На вопросы секретаря он отвечал односложно и все ждал, когда же тот выдвинет заветный ящик. Но секретарь не спешил.

Он расспросил о делах базы, заинтересовался выполнением плана реализации, спросил о чем-то еще нетерпеливо поерзывающего на стуле Годердзи, и потом... потом протянул руку к правому верхнему ящику письменного стола и медленно выдвинул его...

В углу этого ящика Годердзи увидел пачку сигарет, а на ней — коробок спичек... Больше ничего он не видел, глаза его точно пелена какая-то застлала.

И вот, в тот самый момент, когда Вахтанг Петрович вынул из ящика сигареты и спички, Годердзи вскочил, суетливо выхватил из карманов оба свертка, впихнул их в ящик и сам же поспешно задвинул его, едва не прищемив пальцы.

Вахтанг Петрович удивленно взглянул на Годердзи и довольно долго внимательно его созерцал.

— Что это? — отрывисто, каким-то чужим голосом спросил он.

Уже потом, много времени спустя, вспоминая тот случай, Годердзи все не мог понять, откуда пришли ему на язык те единственно нужные слова, которые он тогда произнес.

— Ерунда, Вахтанг Петрович, сущий пустяк! У вас столько расходов, а вы ведь знаете, как мы вас любим... для блага нашего района нам ничего не жаль!

Взгляд Вахтанга Петровича сделался настороженным и испытующим. Он просверлил этим взглядом Годердзи, но сказать ничего не сказал.

Размял пальцами сигарету, с непроницаемым видом закурил.

Годердзи сидел, окаменев, и смотрел на Вахтанга Петровича, как обвиняемый на судью во время чтения приговора.

Секретарь райкома, видимо, что-то обдумывал.

«Наверно хочет вызвать прокурора, или ОБХС... Э-эх, Годердзи, пропала твоя головушка, а все из-за этого дьявола Исака, будь он трижды проклят, пристал в одну душу — дай да дай, вот тебе и дай», — в страхе и смятении думал Годердзи и исподлобья наблюдал за секретарем. Он все ожидал, что тот вскочит, стукнет кулаком по столу, замахает руками и зарет так, что все сотрудники райкома сбегутся и тоже начнут возмущаться. Эта воображаемая картина вызвала у него колики в сердце. Однако... однако ему показалось, что Вахтанг Петрович вроде колеблется.

Но таким энергичным и решительным людям не свойственно долго колебаться, и Вахтанг Петрович, по-видимому, про себя вопрос уже решил. Он вынул платок в коричневую полосочку, не торопясь отер лысую голову и — улыбнулся Годердзи!..

— А славно мы у тебя покутили в тот раз! Пре-

красно покутили. И какое отличное вино ты делаешь!
Вкус его я и сегодня помню!

— Этого вина у меня хоть отбавляй, — ожил Годердзи. — Ежели соблаговолите... я в любое время готов... вся моя семья...

— С удовольствием, брат, с удовольствием, отчего же, ты только кликни, а мы в тот же час к тебе прибудем.

— Скоро мой сын приезжает... он университет заканчивает... ежели окажете честь, благословите его на новый путь...

— Вот и прекрасно, дорогой, вот и прекрасно! Ты меня поставь в известность, а за мной дело не станет, — с улыбкой сказал Вахтанг Петрович, поднялся, крепко пожал руку Годердзи и проводил его до дверей.

Годердзи и не помнил, как вышел из секретарского кабинета...

Одно чувство владело в те минуты всем его существом — чувство избавления от какой-то смертельной опасности.

Он шагал по улице, и ему казалось удивительно легким его большое, грузное тело.

Все те мысли, страхи, сомнения, которые домогали его в приемной секретаря, сейчас позабылись, словно бы стерлись.

Он испытывал даже гордость оттого, что так просто и так успешно провернул столь трудное дело, но вместе с тем какое-то неясное сомнение мучило его, он не мог понять, хорошо ли поступил или плохо. И вдруг перед ним, как из-под земли, вырос Исак.

— Ну что, отдал? — настороженно спросил Исак.

— Какой необыкновенный человек наш секретарь, я должен непременно пригласить его еще раз!.. — вместо ответа проговорил Годердзи.

— Отдал? — вполголоса, но настойчиво повторил вопрос Исак.

— А то нет, постеснялся! Прямо в ящик и положил.

— Ух ты! — вырвалось у Исака.

— Как только он ящик выдвинул, я раз — и ту да эти свертки...

— Ух ты-ы!.. — снова воскликнул Исак. то что-то его осенило, он резко остановился, лобья уставился на Годердзи и стоял так несколько секунд. Потом, как бы очнувшись от каких-то мыслей, схватил его за плечи и восторженно воскликнул:

— Мол-лодец! — и, потеряв руки, удовлетворенно добавил: — То-то, теперь мы и его сломали!..

— Откровенно говоря, мне немножко не по себе было, — признался Исак погодя, утаивая, что не только «не по себе», а очень даже он боялся, потому что не знал наверняка, а лишь предполагал, как отнесется к этому шагу управляющего Вахтанг Петрович.

Правда, от своих друзей-приятелей он слышал, что Вахтанг Петрович «иной раз и берет», но до сегодняшнего дня это были только слухи, и вот теперь этот пень-колода, этот медведь Годердзи слухи воплотил в реальность.

— Молодец! — повторил он одобряюще и с уверенностью добавил: — Если ты и впредь не подкачаешь, пойдешь очень далеко, клянусь моим солнцем!

Исак не ошибся: очень далеко пошел Годердзи Зенклишвили...

После того памятного дня на железнодорожную станцию Семеба не раз прибывали опечатанные plombой вагоны в адрес самебской базы «Лесстройорга». Много раз заполнялся материалом и без промедления опустошался «склад Годердзи».

Много раз вносил Исак в кабинет управляющего завернутые в газетную бумагу свертки, а управляющий, в свою очередь, — Вахтангу Петровичу.

Привык Годердзи и «брать» и «давать», и уже не было ему неловко, и угрызения совести его больше не мучили...

«Коли и Вахтанг Петрович этим не брезгует, коли везде так делается, отчего же нам белыми воронами быть?» — утешал себя обычно Годердзи, когда задумывался о своих делах.

Если бы не происходило так «везде», разве ж присылали бы ему столько вагонов, да еще за полцены? Под plombой, в закрытых четырехосных пульмановских вагонах! Вот! А материал какой, что бревна,

что доски — все высший сорт, как на подбор, смотришь — и глаз радуется.

За короткое время Годердзи Зенклишвили нажил себе целое состояние. Систематически приносил он домой пачки денег и отдавал жене.

Малало всякий раз ужасалась, что-то приговаривала, со страхом взирала на гордо стоявшего перед ней мужа, но пачки забирала и куда-то уносила. Впрочем, Годердзи-то знал куда: на чердаке был у нее тайник — в дымоходе сдвинулись с места несколько кирпичей, за ними она и прятала деньги.

Постепенно Годердзи очень уж зачастил носить свертки. И тогда он надумал, что ради спокойствия жены лучше самому прятать деньги, пусть Малало ничего не знает.

Это успокоило ее, она подумала — «слава богу, перестал мой муж «динамит» в дом таскать...»

Прошло еще некоторое время, и Годердзи еще более утвердился в новом для него состоянии, обрел уверенность, уже не боялся ни давать, ни брать. Напротив, вошел во вкус, разохотился...

Стоило Исаку запоздать с подношением свертка, Годердзи сам давал ему понять, что срок миновал.

Изменился он и внешне. Еще более вширь раздался, и важности поприбавилось.

Ревизоров милостью Исака он легко отваживал.

Когда приезжавшие на проверку комиссии заканчивали свою работу, Исак уединялся с ними и после непродолжительной беседы вводил их в кабинет управляющего базой.

Улыбающиеся ревизоры взахлеб начинали хвалить работу базы и подавали Годердзи на подпись отпечатанный на машинке акт.

Годердзи небрежно пробегал глазами поданные страницы, не утруждая себя внимательным прочтением.

«Все в порядке, надеюсь?» — для блезиру спрашивал он Исака, и когда надутый как индюк бухгалтер в знак согласия с достоинством кивал головой, ставил свою размашистую, малопонятную подпись.

А Исак-то был все тем же Исаком, ни в весе не

прибавил, ни лицом не изменился. И одет был все в тот же серо-коричневый выцветший костюм, изрядно замусоленный и вечно мятый, на голове красовалась все та же выгоревшая и заношенная зеленая шляпа с бурыми пятнами пота на тулье.

Правда, Годердзи за последнее время обтесался как администратор, даже вроде бы прибрал к рукам Исака, однако это было внешней обманчивой стороной дела: да, почту теперь получал лично Годердзи, и товар распределял самолично — кому что и сколько, но истинным хозяином был все-таки Исак.

«Пусть себе распределяет, в конце концов, по мне так все одно, кто чего купит или вовсе ни с чем останется, главное — доход. Пусть он фигурирует во всем, так даже лучше, прибыль-то все равно моя», — утешал себя главный бухгалтер, отличавшийся не только корыстолюбием, но и честолюбием.

Время от времени, как только выпадал подходящий момент, Исак продолжал «агитировать» Годердзи. Он вел упорную и целенаправленную «воспитательную работу».

Весной и осенью, когда солнце ласковое и безобидное, управляющий базой любил сживать на хранивших солнечное тепло бревнах и глядеть на Куру.

Исак не зевал, подсаживался к нему и начинал болтать о том, о сем, но о чем бы он ни говорил, обязательно заводил речь о крупных дельцах-воротилах. С повлажневшими, вдохновенно сверкавшими глазами, торопливо и взволнованно рассказывал он своему начальнику о тех, кто «ворочал миллионами».

Просто удивительно было, откуда знал Исак столько чего об этих людях и как запоминал столько имен, цифр, столько деталей и подробностей их жизни.

Поучения главного бухгалтера не лишены были и патристического акцента.

Любил Исак разглагольствовать о нуждах республики, и мыслил он при этом не только в республиканских, но и в мировых масштабах. Красноречивый бухгалтер распространял опыт самобской базы «Лесстройторга», Вахтанга Петровича или Самеба на всю страну, делал обширные обобщения и формулировал новые прогрессивные экономические «законы» — о стимуляции индивидуальной предприимчивости, о но-

вых экономических формах поощрения труда, о большей заинтересованности людей, большей свободе для инициативных производителей и т. д. и т. п.

— Вот посмотри, — втолковывал он Годердзи, — какая сила у частной инициативы! Недаром там, где она существует, все процветает. А ведь если бы не было капитализма, и социализма бы не было. Но капитализм-то что породило? Частная инициатива. Так что получается, она, то-бишь частная инициатива — бабка нашего строя, а ты ведь знаешь, что такое кровь бабки или деда для внука, какую силу она имеет. Эхе-хе, если бы Сталин не подсек под корень эту самую частную инициативу, мы бы во как далеко пошли!

...Возьми, к примеру, наше дело. Войну выиграли, и крылья расправили, а теперь чего людям надо? Хорошую жизнь им подавай, вот чего. С чего же она начинается, эта самая хорошая жизнь? С хорошего дома, вот с чего. Значит, дома строить нужно. А материал строительный? Материала-то и нет! Нема материала! Вот в такую-то страдную пору и появляются люди вроде тебя и меня, инициативные, деловые, и раздобывают этот материал. Разве это худое дело? Разве это преступление? Объясни, растолкуй ты мне, милый человек, почему это преступление? Я ни у кого не отнимаю, не ворую, просто сверх нормы беру!.. Откуда? А вот откуда: там, где одно дерево рубят, такие, как я, инициативные люди по два и по три срубят, значит норму вдвойне выполнят, своим здоровьем жертвуют, чтобы только что-нибудь выгадать. Не вздумай говорить, что, мол, народное достояние разбазаривают. Не на ветер ведь бросают, не сжигают, не в воду кидают, — опять же народу возвращают!

Возьми теперь нашу базу. Вся Внутренняя Картли сидела без стройматериала. Народ строиться хочет, а ни черта нет, нигде ничего не найдешь. Нема-а! То, что по лимиту приходит, того на государственное строительство не хватает. А мы, то есть инициативные люди, сверх лимита из-за пределов республики привозим, благодаря нашей инициативности находим этот мате-

риал и привозим его сюда для продажи все тому же советскому народу! Тем самым мы заслужили благодарность трудящихся пяти или шести районов, мы улучшили условия жизни местного населения.

Разве это плохо?

Разве это преступление?!

Разве это достойно порицания?!

Одна только наша база получила столько материала, сколько было лимитировано для всей республики, и больше того. Если бы еще несколько таких баз было, вся республика отстроилась бы! А что, ведь другие республики строятся, почему мы не должны, или нам не надо? В Средней Азии не было ни одного европейского города, а теперь — поди-ка посмотри, какие города выстроили! А мы почему должны отставать?

Недавно в Дагестане землетрясение случилось. Потом вот Ташкент разрушился, тоже от землетрясения, и весь строительный материал туда передали. Из-за этих бедствий наше строительство застопорилось. Разве это хорошо? А мы сверх лимита, сверх плана добываем материал и привозим его. Правительство республики не может достать, а мы достаем! Мы, маленькие люди, рядовые работники торговли, и добыть можем, и привезти можем. Что в этом плохого?

Окончание следует



А во флейте пребы-
вала жиденко-
серебристая, трепетно-
нежная душа Луны, и в
мнящемся таинственным
лунном свете, в бледно-
печальном мерцании
упоительной ночи она
становилась звучнее, и
Бесаме, весь отдавшийся
этой своей флейте, — он
уже не мог по ночам без
ее утонченно прелестных
звучков, — чтоб не тре-
вожить многоцветно-пест-
рые, неразгаданные, мно-
го сулящие, грубо скро-
енные легковесные сны
спящего города, затаив
дыхание, поднимался со
своим инструментом, в
котором притих волшеб-
ник, на заветный холм
Касерес и осторожно ума-
щивался там в пригорш-
не Ночи, чтоб играть.

А внизу черно гнездил-
ся — немножечко его и
немножечко наш — ис-
томленный и какой-то
заброшенный махонький
городок Алькарас, чуть-
чуть светящийся тусклым
фонарями, и на него
тихо нисходило упова-
ние — принимая дыхание
глубоко ему преданной

Гурам ДОЧАНАШВИЛИ

**ВАТЕР/ПО/ЛОО,
ИЛИ
ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

*Фантастическая
повесть*

Окончание. Начало см. «Ли-
тературную Грузию» № 4 за
1984 год.

Маргариты

Перевод
ГРЖЕНДЗИЦА

души, легкий инструмент издавал прозрачные согласные, потом протяжные гласные, и во тьме с легким шелестом, поблескивая, пробивались серебряные потоки, ибо ведь флейта была веточкою Луны.

А этот тонюсенький всемогущий волшебник, чего он только не вытворял, — в чернильной тьме, фиолетово глазированной Луною, он словно бы водил большими ладонями над маленьким спящим городком во имя исправления одной только нежностью и даже вознес бы весь городок вместе с плитняком к вышнему свету, да только у него не было пальцев. И кто бы мог подумать, что в руках не искушенного до поры Бесаме он столько времени провалялся во сне, — теперь, когда в него с нежностью вдыхали душу, теперь он потягивался, тесным желанием. И чем только не располагал этот властитель Ночи, чтоб обласкать этот лес, это огромное небо, такой вот холм... А наш Бесаме, изливаясь в волшебномдыхании, одиноко сидел, окруженный звуками, в семядоле Ночи, чуть поживаясь от предутренней свежести, и ощущал в себе ту радость, смешанную с болью, которую подчас называют душевной усладой, но в один, так сказать, самый обычный день, при самой заурядной погоде, пан Картузо сказал:

— Даже самые великие очень плохие люди терпят, бывает, поражение из-за вероломства судьбы, и, нутека, скажите мне теперь, что явилось самым большим поражением самого великого очень плохого человека?

— Ватерлоо, сэр, — встал буйноволосый Тахо.

— Хорошо, молодец, пишу вам «отлично».

— Спасибо, эфенди.

На дворе стояла обычная погода.

— А что скажете воот, воот вы?

— Величайшее поражение потерпел бы самый великий человек, — поднялся Бесаме Каро, — если бы он не изорвал в клочья написанное им на заглавном листе Третьей симфонии посвящение, бвана.

Милорд Картузо насупился и:

— Так что ж за беда все-таки заключалась в этом написанном черным по белому?

— По наивности он сначала посвятил это свое творение Бонапарту, сенсей.

У Картузо скривилась физиономия, но любопытство все же взяло верх:

- Что за такое творение?
- Третью симфонию.
- Какая там еще третья?
- Бетховена, герр.

Немного погодя Картузо-ага заявил:

— У меня здесь не уроки дурацкой музлитературы, это во-первых, и, ии, и, во-вторых, сверх того, я пишу вам «плохо». Можете считать себя направленным на восстановительные работы.

— Федотыч, почему?

— А потому, — от воздержания у историка аж ухо дрогнуло, — потому, что я спрашиваю одно, а вы мне, мне лично, отвечаете совершенно другое.

— Но при чем тут эти восстановительные работы?

— При том, что в здоровом теле находится здоровый дух.

Бесаме посмотрел на него некоторое время, а потом спросил:

— Но зачем понадобилось отвлекать меня от настоящего дела из-за этого давно умершего человекоубийцы, бей?

— Прежде всего кто вам сказал, что он был человекоубийцей?! Ведь из истории известно, что непосредственно величайшей рукой Наполеона не был расстрелян ни один человек, юноша.

— А ведь это еще ничего не значит, о магараджа.

— Как так ничего не значит, почему ничего не значит, а?!

— Потому, синьор, что, хотя Наполеон никогда, наверное, не едал человечины, его тем не менее называли корсиканским людоедом, монсеньор.

Тут мистер Картузо вздел кулаки, прикрыв глаза, глубоко втянул в себя воздух и, откинув голову назад, возопил:

— Сейчас же воон из этого заалаа!!

О том, что восстановительные работы проводились за Алькарасом в каком-то окрашенном в сероватый колер зале с большим окном, об этом Бесаме Каро хорошо знал, а вот что творилось там внутри, в самом чреве этого здания, ему было неизвестно.

— Дедушка не любит этого здания, — сказала Ра-

мона Сумерек. На ней было желтое платье, изящно отделанное синим кружевом. И Бесаме уже не стал расспрашивать «почему», из опасения, как бы разговор не перескочил на то заведение, что находилось в конце улицы Рикардо.

Стоял ноябрь, предзимний месяц, и уже невозможно было купаться в речушке, которую называли в честь города Алькараской. От той речушки был отведен маленький канал, по которому раз-другой в месяц пускали воду, — конец канала терялся в том окутанном тайной зале, — после чего какие-то ражие парни разводили в неглубоких ямах под зданием небольшие костры и вновь забегали в зал; вскоре оттуда доносился плеск воды и короткие зычные вскрики. «Что это, застенок? Пытают там, что ли?..» — подумал Бесаме, перестав слышать, что говорит ему Рамона:

— Разве это так можно, чтоб человек, не любя другого человека, все ж таки его бы поцеловал?

— Что?..

— Я говорю, что разве это можно, чтоб человек, совсем не любя другого человека, все же его поцеловал? Да еще и того хуже...

— Нет, как можно! — решительно отмежевался Бесаме.

— Но ведь бывает? Оказывается...

Набравшись духу, Бесаме брякнул:

— Это очень плохо.

Семнадцатилетний мальчик и пятнадцатилетняя, но каким-то родом более взрослая, чем он, девочка.

А под конец Бесаме уж и вовсе перехватил:

— Мне кажется, Рамона, если даже два человека любят друг друга, они все равно не должны целоваться.

— Бесаме, почему? — спросила Рамона Удивления.

Но этот зал не мог быть полностью местом пыток, потому что оттуда с веселым гвалтом высыпали гогочущие во все горло здоровенные молодцы с мокрыми волосами, молотя мясо своими крупными зубами, которыми можно было бы перегрызть и железо.

А каштаны они трескали прямо с кожурой.

Но если у флейты была призрачно-бледная, грустная душа полной Луны и если сама флейта была безраздельно лунной, то и Луна была добродетельно верным

флейте островком с легкозвучными бубенцами. И наш Бесаме с поднесенной к влюбленным устам ночной ветвью в руке, овеявая призрачным дыханием долинные побеги, растил ельник, пустивший свои корни на Касересе, напаявая хмелем тамошний острый, пьянящий воздух, а сам, весь превратившись во внимание, в своей залитой светом комнате следил взором за беспорядочным кружением одурманенных звуками флейты пылинок в косо врезанном солнечном луче.

— А ведь у тебя, Бесаме, как будто бы что-то выходит, — говаривал ему иной раз добрый маэстро Карлос Сеговия, — стоящий ты мальчуган.

А Великий Старец Христобальд де Рохас только время от времени поглядывал на Бесаме со спины.

Ну а уж этот волшебник, чего он только не выделял: на высоких нотах он как будто бы подпрыгивал, чтоб сорвать свисающий плод, а на низких — поддувал ветерок и снежило. Туман лежал над дальними садами, какой-то неведомый лик рисовался в глубоком колодеце, на лужи сеял редкий маленький дождик, а на морском дне замер обреченный мокроте диковинный кустарник. В звуках флейты было что-то чистое, как слюна спящего младенца, тяжело свисающая с подбородка, но флейта покорствовалась тому налитанному туманом воздуху, который лежал над дальней светозарной дорогой, ибо Луна была благодатным островом флейты. Кармен, эвоэээ!.. Что-то вдруг заскучал по тебе Аффредерик, по тебе, чьим островом было, как говорится, уголовное преступление. Будь на то моя воля, шлопутка ты, Кармен, эдакая, поселил бы я тебя на праведном острове, где были бы одни только овцы, быки да буйволы... Ой, ну и хватил же наш Аффредерик, Аффредерик Я-с, у которого на уме было поведать кое-что совсем иное, горестно-предрешенное, а вышло, тьфу ты, все шиворот-навыворот, вот он и говорит: будь на то его воля, поместил бы он тебя на диком острове, и пасла бы ты подобно Бесаме стада овец и крупного рогатого скота, отпустив их на все четыре стороны, ибо ведь там не рыщут ни волки, ни еще кто, и, не имея с кем словом перемолвиться, могла бы на досуге кое о чем поразмыслить; и какое бы преступление могла

ты там совершить, я тебя спрашиваю, могла бы ты там ранить кого-нибудь, а? Эх ты, изменщица многолюбивая! Там тебе не удалось бы охмурить вот этими своими глазищами какого-нибудь легковенного по женской части полковника!.. На том острове на тебе и одежды-то никакой не должно было быть, и расхаживала бы ты туда-сюда, приминая босыми ступнями траву, а стояла бы там зимой и летом середина июня, и отяжелевшие деревья протягивали бы тебе совершенно бесплатно свои благословенные плоды; иногда бы ты одаривала озеро своим достойным растерзания телом, а потом, улегшись ничком, обсушивалась под палящим солнцем, раздумывая голышом о добре и зле в этом подлунном мире, и, стосковавшись по иному теплу, взяла бы на руки ягненка и крепко прижала бы его к двум действительно благословенным плодам своей груди, и чуть посильнее согрелась бы твоя чуть более полная правая грудь... Эх, неужто и та, неизведанная, свобода тоже имеет свои печали? Загрустив в пору созревания смоковницы, обвила бы ты бычью выю своей преступной рукой, заглянула бы в печальные буйволиные глаза и увидела бы в них ничем не прикрытую тоску, и не портили бы тебя даже большие золотые серьги, а по ночам ты, вероятно, устремлялась бы взором к богу всего серебряного — Луне, и тогда ты не была бы уже совершенно одинокой, потому что на Луну с трепетом взирают и с других, совсем других островов, но капрал-дубина не спросил, а сказал:

— Кто-из-вааас-ээ... Бесаме Каро.

— Я.

А тут уже оный капрал не сказал, а спросил:

— Если вы сегодня же не явитесь на восстановительные работы, то в течение двадцати четырех часов должны покинуть город?

11

— Мое настоящее наименование, с вашего позволения, друзья, Рихоберто Даниэль Жустинио Рексач, но в этом здании вы должны называть меня просто Пташечкой. Почему это именно так, узнаете впоследствии, салют!

— Здравствуй! — браво выкрикнул Тахо — он попал



на восстановительные работы за незнание сольфеджио, а вообще-то он играл на тарелках.

— Я тебе дам «здрать», ослиная голова! — рявкнул Пташечка, на тяжелом базальтовом подбородке которого словно топором вырубил весьма внушительную ямину. — Говорить надо елико возможно нежнее, потом узнаешь, почему это именно так. А ну давай сначала: здравствуй, дорогой, а?

— Страфстфуйте, — сдавленно процедил Тахо, на побледневших щеках которого особенно явственно проступила ранняя щетина.

— Та-ак, в здоровом теле лежит здоровая душа, — изрек Пташечка, затем приоткрыл на миг незнакомую дверь и, гаркнув в какую-то блескоту: «Пихай его в воду, топи!», вновь обратился к новобранцам: — А от-расль, к которой я должен вас, отстающих, приобщить, наипрекраснейшая.

Он мотался взад-вперед, а то вдруг, став столбом, наводил на кого-нибудь, точно пистолет, палец.

— Я не буду расспрашивать, кто из вас в чем хромал и почему вас прислали ко мне, — маячил он туда-сюда. — Я тактичен и чуток. Но я знаю, что вам необходимы восстановительные работы, и поэтому, — он ткнул пальцем в сторону худосочного музыканта и застыл столбом, — подтекстно отрасль моя — закаливающая, превращающая мужчину в настоящего мужчину, словом, наилучшая. Вона как, то-то.

Пол был деревянный и поскрипывал.

— Если кто-нибудь спросит, в чем суть ваших занятий, то вы должны отвечать, что вся суть в восстановительных работах. Для вас начинается новая эра, мальчики, а наши занятия, голубочки мои, связаны с большой нагрузкой, вот потому-то, в целях разгрузки, вы должны называть друг дружку ласкательно. К примеру, вот тебя, оболтус, как именуют?

— Тахо.

— Тахо... — призадумался кряжистый дядька, — ничего, звучит довольно ласкающе, и все же, э, э-э, ээ, и все же, ээ, я тебя буду звать... Тахё. Плавать умеешь, Тахё?

— Да, синьор.

— Чтооо, что?
— Да, умею, дядя Пташечка.
— Очень хорошо. — И моментально метнул следу-
ющему: — А в чем там у тебя дело?

— Я срезался по современной библии, герр.

— Я тебе такого герра врежу по харе, что кровавой юшкой залъешься! — расвирипел Рихоберто Даниэль Жустинио Рексач. — Во-первых, я уже отметил, что не спрашиваю про всякие там срезался-мрезался, а во-вторых, у меня есть ласкательное имя.

— Суть моего дела состоит в восстановительных работах, и я тоже умею плавать, дядя Пташечка.

— Это мы увидим послезавтра. Дааа, послезавтра, а сегодня у нас урок ознакомительного осмотра вас мною. А тебя как зовут?

— Меня зовут Бесаме.

— А дальше... как фамилия?

— Бесаме Каро.

— Кааак?

— Каро...

— Что ты мелешь?! — аж присел от удивления Р. Д. Ж. Рексач. — Как?

— Моя фамилия Каро.

— Ох ты, да ведь это же, парень, просто замечательно, — привскочил на коротких ножках Восстановитель, — потому что по-итальянски Каро значит дорогой. Молодец ты, молодец...

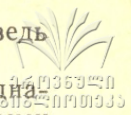
И вскоре же добавил:

— Послезавтра соберетесь в то же самое время. На каждом должно быть нижнее белье. Так, значит. А теперь я подброшу вверх вот этот мяч, и если кто не успеет выскочить за дверь, пока он упадет, руки-ноги перелломаю. А нуу, гоп!

* * *

Тихий вечер медленно стлался над нашим Алькарасом, кто-то нетерпеливый даже запалил коптилку, а побродяжка нутром распротофантаст-невидимка Афредерик Я-с, раз, раз, взял да и по-топ-топ-топал не спеша по выложенной плитняком улице. Вот так-то. Да, именно так.

Он шел в надежде набрести на чуток нашего и чу-



ток его Бесаме Каро, да оно и понятно — он же ведь взял его на мушку.

Какая-то вовсе трезвая женщина сама по себе, одна единешенька задумчиво вытанцовывала перед белыми воротами болеро — эх, у каждого своя печаль, свое горе... А у нашего-то Бесаме и не говорите... В полном обалдении шел он от Пташечки, и стоящего на дороге фантаста-мантаста Аффредерика, будь тот даже явно зримым, этот наш мальчик ни в коем разе бы не приметил, да он так и прошел сквозь него, что, конечно же, ничего не почувствовал. А Аффредерик гоп-гоп и припустил следом; и что только его к этому понуждало, или был кто у него в роду шпионом, соглядатаем, и-ээх...

Сколь малым довольствуются порою люди...

И впрямь, сколь же все-таки малым довольствуются порою люди, — когда Бесаме купил себе каштанов, всего три горсти, ему как-то на сердце полегчало, а как полегчало, так и захотелось попить водицы, и он отведал ее из смутно проступавшего в ночи фонтана, всего два глоточка; плохое настроение вроде бы отступило, и он присел у воды... в брызгах, которых не было видно, и в шуме, правда, чуть смелевшем по ночам, но все-таки очень скромном; а в необозримой дали, где-то там, за облаками, поблескивала какая-то звездочка. Бесаме приподнял голову, поглядел на густо чернеющее небо, и вдруг на него напало что-то очень враждебное и нестерпимо настырное, что рано или поздно неизбежно нападает, находит на всякого человека: «Зачем я есть...»

Весь скрючившись, сжавшись в комок, сидел наш Бесаме. Каким сиротой ходил он по этой всеприемлющей и всепрощающей матушке-земле, сколько мучился, сколько холодал и голодал, как исстрадался, и ведь надо же — теперь, когда он только-только с таким трудом приманил к себе наконец волшебника... Совершенно подавленный Р. и Д. и Ж. Рексачом, с горечью думал он о том, сколько же, ох, сколько чего надобно человеку, и самое главное, вероятно, — это солнце или воздух... Ух, мы же позабыли из этого самого главного землю и воду! Воодааа и земля-кормилица с ее материнским лоном, без попреков, с тихой лаской дарующая

Г. Дочанашвили. Ветер/по/лоо, или Восстановительные работы.

нам такое изобилие многообразных своих плодов, все отдающая, присновеликая и всеблагая в своих безмерных щедротах. И не пошло все это впрок ему, сироте, сокрушенно думал Бесаме, не смея шелохнуться от ужаса. А многопалая ночь маленького городка крепко-накрепко вцепилась ему в ворот своими черными лапищами, пристально усталилась на него, полуудавленного, черными провалами глаз и раззявила над ним свою черным-черную пасть: «Зачем ты, для чего?» Ээх, куда же подевались все блага земные! И Бесаме, сам превратившись в ночь, зажал руками уши, смежил веки и затих, замер, когда вдруг почувствовал чью-то новую руку на продрогшем затылке, встрепенулся и увидел ее — Рамону Спасения и Отрады.

— Тебя подпоили? — спросила она, приглядываясь к нему тревожно.

А как же нет — ему дали, дали хлебнуть горькой отравы, здесь, в Алькарасе, где в самый первый раз за всю свою жизнь улыбнулся сирота.

А когда Рамона спросила «подпоили, даа?», на последнем гласном «а» ее ротик остался чуть приоткрытым, и зачарованно смотрел на нее в той темноте Бесаме — уж с каких пор любил он ее.

А Пташечка:

— Ничего, грт, кисоньки, плавать вы, похоже, умеете, особенно ты, мой Каро. А это слово, это сладкое Каро, здесь, в этих светлых стенах, будет отныне не фамилией твоей, а твоим наименованием. А тебя как кличут?

— Так ведь, с вашего позволения, я Тахё.

— Славно, славно. А тебя, дорогой?

— Меня зовут Карло.

— «Л» совсем ни к чему. Хотя в команде нежелательно иметь двух Каро. Я нарекаю тебя наименованием Джанкарло. А тебя, цаваттанэм?¹

— Хуан.

— Ну что за имя Хуан, душенька? Ты будешь у нас Хюаном. А тебя, май дарлинг?

Птенцы сидели на краю удлиненного четырехугольного бассейна, опустив голени в подогретую мутную

¹ Дословно — твое горе мне; ласк. обращение (арм.).

воду Алькараски; с головы до ног мокрые, они дрожали мелкой дрожью — им это было так назначено для закалки, а за их спинами ходил себе похаживал Рихоберто Даниэль Жустино Рексач; огромные часы с кукушкой свисали у него до самого пупа, а длинный свисток был по-домашнему заткнут за ухо, и когда он сверху вниз спрашивал о чем-нибудь кого-то из своих подопечных, то при этом игриво пинал его в спину ногой.

— Я вас обучу самой величайшей и блаженнейшей из всего множества существующих на свете игр — оох! — ватерполо. Тебе хочется, Тахё?

— Да-с.

— А тебе, мон шер Хюан?

— Да-с...

— Ватерполо, мой Джанкарло, это сама жизнь, а почему это так, я вам объясню в следующую субботу. На кого ты похож, парень, тебя что, голодом морили дома? — пнул он ногой плюгавого музыканта. — Ты, кажись, рукоблудишь на скрипке, да?

— Да-с, — и снова уселся на свое место хрящева-тый паренек.

— Ну ладно, на что-нибудь да сгодишься, ибо великое ватерполо — это сама жизнь, а в жизни — вам холодно, чего вы так посинели, полевые фиалки? — а в жизни чего только не бывает. Но все же главное то-о, то, что... А ну, что, дорогой Тахё?

— А кто его...

— В это жизни, душеньки, знаете, что самое главное?

Наступила тишина. И тут Пташечка, высоко вскинув голову, изрек:

— Главное — победить!

Тишина застряла на месте, как паршивый мул...

Р. и Д. и Ж. и Рексач scomандовал:

— У края бассейна по два стаа-но-виись! С интервалом в три шагаа-а!.. Друг против друга!.. Вот вам мячи, и пока кукушка успеет выскочить из моего минутамера и прокуковать «ку-ку», лупаните друг друга мячами, да так, чтоб побольнее. А если кто сбросит своего напарника в бассейн, — это совсем хорошо.

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или Восстановительные работы.

Мало было одного Бесаме нашему Афредерику, так их объявилась целая троица: на три Бесаме распался наш бедняжка. Растерянный и пришибленный, слонялся парнишка как неприкаянный на малом клочке этой всеприемлющей земли, тело его свинцово отяжелело, но земля — она вынослива, в терпении и выносливости с ней может сравниться разве что одна только бумага, таких ли нашивала на себе земля, как наш Бесаме! И его, сироту, терпела она без попрека.

Один Бесаме, и при этом, быть может, главный, рабски служил тому волшебнику, превращая вместе с тем его длинного сухопарого посредника, послушного влюбленному дыханию, в гонца с бубенцами у подметок; превращая в гонца, в посыльного, и притом кого же и к кому — к самой Лунеее! Повелитель широко рассеявшейся, невесомо парящей в призрачных туманностях души того волшебника, сиживал Бесаме темнобархатными ночами на холме Касерес. А вы бывали ночью на Касересе? И я тоже нет, милейшие. Только один Афредерик без толку носился там как оглашенный, только он один там и бывал...

А второй Бесаме был мальчиком Рамоны Полумрака...

По вечерам, в тихую пору сумерек, когда всякой живой твари — букашке, скотине, человеку — хочется какого-то приюта и крова, Комнатный Каро лежал на диване и вспоминал светлoneжноликую девочку — Полеву Рамону с фиалками — вот так чудо! — величинею с зонтик в руке... Она стояла и стояла в высокой траве, а потом медленно-медленно шла к Бесаме, тонким станом прокладывая себе зеленую дорогу, и — ох, как это изумительно! — на шейке у нее родинкою лежала ромашка, лоб опоясывал ивовый прутик, а на пальчике перстеньком горел мак, и все бы хорошо, кабы на слабенькой шейке не уместился откуда ни возьмись шрам, но откуда, откуда он взялся, просто уму непостижимо!

Лежа грезил... Грезил, лежал...

А сам-третий Бесаме — о-ох, не хватало нам только подобия рифмы! — ну, то есть, значит, следующий, последний Бесаме Каро принадлежал дяде Пта-

шечке и скрепя сердце выслушивал его внушения. Р. Д. Ж. Рексач имел обыкновение учить своих питомцев уму-разуму после того, как они до изнеможения наплаваются: «Слушайте меня, котятки, вы должны научиться плавать для ватерполо, потому что ведь ватер на чужом языке означает воду, а быть в воде и не плавать невозможно».

Прищуriv глаза, Рексач смотрел некоторое время на худосочного музыканта, потом в его мутном взоре промелькнул какой-то светлый лучик, и он сказал:

— На последующие работы ты приходи со своим музыкальным инструментом, милоч.

— А вы мне его не сломаете? — окончательно посинел с перепугу и без того весь иссера-синий парень.

— Нет, что ты, мон шер, май дарлинг, — молвил Пташечка, — я выделю тебе определенную комнату, и ты, чтоб не терять готовности, играй себе пока какие попало упражнения. А почему это так, потом узнаешь. Для величайшего ватерполо я должен использовать даже таких недотеп, как ты, дорогуша.

А на Рамоне было белое-пребелое платье, и — ох ты, господи боже мой! — о чем она спросила едва переступавшего рядом с ней на цыпочках переполошенного парня:

— Ты когда-нибудь женишься, Каро?

Бесаме поник головой — они почему-то приостановились — и стал ковырять носком землю.

— Женишься, я спрашиваю?

— Кто за меня пойдет... — сказал Бесаме и покраснел, ему стало стыдно. — Я же нищий.

— Как Иисус?

— Откуда ты это знаешь? — Бесаме испуганно вздернул голову.

— Ты бредил...

— Вот тогда?

— Ага.

Они медленно двинулись.

— Дедушка мне сказал, что к Светлому Воскресенью к нам приедут тэруэльские музыканты, они будут исполнять самого Моцарта.

Бесаме остолбенел, у него перехватило дыхание.

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или Восстановительные работы.

— Как, самого Моцарта?..

— Да. А, например, когда мы станем взрослыми, если я пойду за тебя, ты возьмешь меня в жены, Каро?

— Дааа!

День чудес.

А волшебник того инструмента — что это все-таки было, зависть или еще что? — уже не так подчинялся Бесаме, он с ленцой сипловато дышал, а бывало, даже издавал хриплые звуки, этот своенравный волшебник, да к тому же пальцы Бесаме, набрякшие, исковерканные от вечного хлопанья по мячу, уже не владели, как прежде, инструментом, да и у губ его появилась новая забота:

— Если ты когда-нибудь и вправду станешь моей женой, Рамона, — говорил Бесаме, косясь в сторону и теребя пуговицу, — если станешь... вот если ты станешь моей женой, тогда?!

— Что тогда... — Беленькая, как снег беленькая Рамона тоже, как и Бесаме, вся залилась пунцовой краской.

— Вот там, тогда... — окончательно оробевший Бесаме сунул пуговицу в карман и добавил: — Тогда там, на ложе...

— Что там, на ложе... — окончательно побелела Рамона.

— Там, на ложе, ты разрешишь мне поцеловать твою руку?

Рамона вздохнула с облегчением.

— Ты и сейчас это можешь, но только руку.

— Раз так, Рамона, — воспрянул Бесаме Каро, — я поцелую тебе руку в день Светлого Воскресенья, ладно?

— Почему, Бесаме?

— А потому, что... я ведь буду такой счастливый до того дня, до самого дня Светлого Воскресенья, я буду все время помнить, что должен поцеловать тебе руку, Рамона, и кроме того...

— Что кроме того, Бесаме... — посуровела девочка.

— И кроме того, я буду слушать самого Моцарта.

— Что, очень нравится? — поуспокоилась Рамона.

— Да, очень, вот именно что очень.

Моцарт был вроде праздника увенчания — увенчания двух великих начал... Каких — Бесаме не знал,

недопонимал, а вот прекрасное-доброе величие его ой-ой как хорошо чувствовал.

— Славный ты мальчик. — Его так похвалили, то бы он был младшим.

И когда они научились сносно плавать, а на суше вовсю дубасить мячом, Р. Д. Ж. Рексач подвел своих восстанавливаемых, в одном нижнем белье, к какой-то неведомой им до тех пор железной двери и заявил:

— Первый отрезок, мои птенчики, мы оставили позади — так или иначе никто из вас в воде не тонет, ха-ха, а теперь, мои скворушки, отворите вот эту дверь и давайте все туда.

Приоткрыв дверь, Тахо опешил:

— Что там, дядя? У вас не найдется какой-нибудь свечки, я ничего не вижу.

— Да-да, я тотчас же предоставлю вам люстру, вот именно... Полезайте, вам говорят.

Тахо переступил через порог, за ним еще четверо, и сразу же изнутри послышалось:

— Здесь нас больше пяти не уместится...

— Разговорчики! — вскипел Р-Д-Ж-Р-ач. — Все четырнадцать втиснетесь! А ты нет, парень, — бросил он худосочному. — Тебя я использую для другого дела. А вы сейчас же впихивайтесь, быстро, пока я не переломал вам руки-ноги! — При этом он даже наставил на них рогами два пальца: — Буркалы выколю!

А когда с большим трудом прихлопнул за ними дверь, то довольно усмехнулся себе под нос: «Таких ли, как вы, я заталкивал?!»

А ты бы, ты бы не выдержала в той камере, Кармен, буянка. Начала бы, наверное, строить Рексачу глазки своими огромными глазищами и свела бы с ума даже эту вонючую мразь. Ведь для тебя это, так сказать, не составило бы ни малейшего труда. Выскочила бы ты опрометью из сего восстановительного заведения, бросая Рексачу всевозможные обещания и посылая воздушные поцелуи, но сама ни за что бы на свете не явилась в тот же вечер в назначенное время на свидание, потому что приземистые и короткорукие были совсем не в твоём вкусе, да еще с каменным подбородком. А наш Р. Д. Ж., с тщательно отмытыми руками и физио-

номией, поначалу, до полуночи, прохаживался бы вокруг да около того места, горделиво выпятив грудь, потом зашнырял бы в тревоге, а уж потом, чересчур одураченный, попросту обведенный вокруг пальца, изо всех сил стукнул бы оземь сапожищем и прикусил бы от злости губу, никогда не знавшую женщины, подобной тебе, Кармен. Ты это могла легко и просто, да, совершенно легко и просто отколоть, но что было делать тем четырнадцати восстанавливаемым, на которых обучатель сложной игре — ватерполо — Рексач швырял сверху, из окошечка в потолке, крыс с вырванными зубами, крича при этом: «Голубочки, это крысы, они ваши гости. Плакало теперь ваше беспечальное житье! И чего это вы корчитесь да извиваетесь? Крыс, что ли, а, перепугались такие здоровенные балбесы?!», а пораженные ужасом восстанавливаемые, каждый миг ощущая то ухом, то щекой, то животом прикосновение шныряющих меж ними в непролазной тесноте скользких трепыхающихся сгустков цвета золы и дрожа всем телом, все плотнее сбивались в кучу, и крысы, с трудом прокладывая себе дорогу к полу, продолжали мелькать между телами восстанавливаемых сероватыми склизкими комками.

«Теперь вы, голубочки, узнаете, как следует напрягать тело, и станете сильными, это вам пригодится для ватерполо! — кричал им сверху Рихоберто Даниэль Жустинио Рексач. — Ведь вы ощущаете в себе силу? Вот это, понимаю, тренировка!». А превратившиеся в одни сплошные мускулы восстанавливаемые нещадно напирали друг на друга, леденя от холода; юный Джанкарло неистово орал, кто-то другой, совершенно обессилев и превратившись буквально в тряпку, уронил голову на грудь, но когда Рексач шмякнул ему прямо в затылок склизким комом, живо встрепенулся и с отчаяния разодрал кому-то щеку железными ногтями. «Хорошо, молодцы-ы!» — поощрительно трубил Рексач.

... И хотя Бесаме долго после этого драил кирпичом свое опоганенное тело, с него все не сходила эта омерзительная осклизлость, а когда, подойдя к дому, он увидел Привратную Рамону, которая сказала ему: «Поскорее, Бесаме, как бы нам не опоздать на концерт», то спросил только: «Что за концерт?» — «Ты что, не помнишь? — удивилась она и торжественно

объявила: — Играют Моцарта». А Бесаме в ответ: «Да пошел он...»

Голос у него был злобный и какой-то совсем чужой.

13

Будь ты хоть кто, пусть даже и фантаст, тебя тянет к общению с людьми, но нашему тоскующему Аффредерику уже некого было ждать в полночь и за полночь на Касересе, один остался наш Аффредерик Я-с.

С холма внизу виднелся городок, немного и наш с вами, погруженный в тьму вошедшей во власть ночи... Лишь там-сям мерцали слабые огоньки да подремывали бледные фонари на улицах. Весь Алькарас спал мертвецким сном, и только в каком-то углу, укутанный в долгополый плащ, как младенец в пеленки, стоял отверженный всеми, отлученный от своей возлюбленной разбойник, и при малейшем шорохе вздрагивала его рука, сжимающая нож.

Но нет, где там, ничего и похожего на шорох не слышалось, хотя в несметном движении на мирно спящий городок безостановочно сыпал и сыпал снег. Да, сыпал снег...

С беззвучным воем тяжело нависли над Алькарасом хмурые, грубо взрыхленные тучи, и снег печально садился на все без разбору. В рано наступивших сумерках рядовые алькарасцы молча наблюдали из своих окошек снегопад, примечая, как даже в чахлом, бесчувственном свете фонарей внезапно вспыхивали искорками падающие из темноты снежинки. Верно, мглесто-студеная ночь была виною тому, что никто не показал носа на улицу, кроме фантаста Аффредерика да того сжимавшего нож разбойника, но Аффредерику-то что, он был невидимкой, на него совершенно не падал никакой снег, а вот на плечах и на голове того, что притаился в засаде, выросли целые груды сверкающе-белого, а из комнаты будто чуть фиолетоватого, на самом же деле белого-пребелого и холодного-прехолодного снега. И выбежать-то на улицу было некому — дети спали, а Комнатная Рамона сидела у жарко пылающе-

го огня, и на ней играло множество прыгающих изломанных теней.

А тому, о ком думала Рамона Тепла, тому представьте себе, вовсе не было холодно, хотя и стоял он по самое горло в воде — разгоряченные усиленной тренировкой, до чертиков наплававшиеся восстанавливаемые, держась за борта бассейна, отдыхали, а ихний Рексач прохаживался взад-вперед по тому же борту, тяжело ступая грубыми сапожищами на толстой подметке на пальцы своих питомцев, и тем часом давал им наставления:

— Сама жизнь — ватерполо, сама жизнь, а для каждого гражданина главное — выйти в жизни победителем. Но стать победителем не так просто — для этого надо кого-то победить, а для этой цели существует тысяча уловок, которым ничто вас не научит лучше, чем ватерполо, мои голубочки.

ПройдетсЯ, остановится на чьих-нибудь пальцах на некоторое время и опять давай ходить.

— Вы должны быть беспощадными, мои дорогие, потому что ты пощадишь кого-то, а он, глядь, тебя не пощадит, так не лучше ли первым проявить беспощадность, а, что скажете, мои скворушки?

У камина сидела вся сухая, разгоревшаяся от жаркого огня Рамона, но что-то очень злое и безжалостное холодило ей сердце, знать, творилось где-то неладное...

— Вот ты, мой дружок, и еще вот ты, мой Тахё, плывите к середке. Та-ак... А теперь ты, мой славенький малыш Джанкарло, посильнее откинь ногу и наотмашь врежь хорошенько под микитки Тахё, лучше пяткой.

— А-а... почему, дядя?

— Пяткой больнее.

— Нет, дядь, я спрашиваю, почему я должен врезать пяткой?

— А почему, скажем, не должен? — с виду спокойно спросил Восстановитель, но все, кто находился от него поблизости, прекрасно почувствовали за этим напускным спокойствием сильнейшее нутряное напряжение, а Джанкарло, плававший чуть поодаль, пояснил:

— Он мой товарищ.

— Я тебе, оболтус, покажу такого товарища, что... Ишачий сын! — И уж тут-то РДЖР-ач сорвался: —

Кто слышал о товариществе в ватерполо! Я же вам долблю, что вы должны быть безжалостны! А моему драгоценному Джанкарло, я вижу, это не нравится, ему так сказать, этот мой призыв не по душе, а, сладенький мой?! Ну, а коли так, то давай ты, мой верный и преданный Тахё, лягни пяткой этого болвана, да так, чтоб он сжался в клубок от боли. А если ты, Тахё, этого не сможешь, — в его хриплом голосе прозвучала серая угроза, — то я швырну тебя одного вон в ту комнату, связав по рукам и ногам и сплошь вымазав салом, и напущу на тебя много-премного, целую тьму, тех изголодавшихся шустрых красоток. Ты понял меня, дорогой мой мальчик Тахё? О, альма миа!¹

Джанкарло издал глухой отрывистый стон, раззявив рот, тяжело перевел дух и, судорожно скорчившись, ушел головой под воду, а когда он вытащил голову из воды и отдышался, стоявший на пальцах Бесаме Рексач спросил его с иезуитской ухмылкой:

— Ну как, товарищ он тебе или нет? Да или нет?

— Нет, — сказал Джанкарло, зловеще блеснув глазами.

— Он говорит нет, Тахё, ты слышишь, дурачок? Долбани его еще разок...

И снова, во второй раз, спросил почти теряющего сознание и горящего жаждой мщения Джанкарло, который от мучительной боли в кровь разодрал себе ногтями живот:

— Ты говорил, что он твой товарищ. Так как же, товарищ он тебе, мой птенчик?

— Нет!

— Полный ответ, и я тебя награжу.

— Он мне не товарищ, дядя Пташечка!

— Хорошо, молодец... А теперь, дорогой, твоя очередь — ты должен как следует угостить этого нашего неженку Тахё, своего бывшего товарища, — и, приложив ладонь к уху: — Чем половчее бить?

— Пяткой, синьор.

А в раздевалке, пока Тахё приходил в себя, дядя Пташечка, степенно вышагивая между восстанавли-

¹ Душа моя (жсп.).

ваемыми, которые стояли в одном белье, проповедовал:

— И чего только не бывает в этой жизни: взял я в жены уродину из богатого дома — не любя, и хорошо тянул у нее денежки, но для этого, мой альма мии, ее надо было уметь распотешить. Усажу я эту образину к себе на колени, пощекочу-пошупаю — это тоже жизнь, это тоже во имя победы,—вольюсь с закрытыми глазами в ее вялые, блеклые губы, а она, дуреха, прикроет глаза от страсти и давай мурлыкать, как кошечка, — глядь, денежки и перекочевали красивенько и аккуратненько в мой карман. Потом я прогнал ее к чертовой матери.

Воот таак поучал восстанавливаемых Рихоберто Даниэль Жустинио Рексач, а на дворе шел снег... Ты когда-нибудь играла на гитаре в толстых шерстяных перчатках, Кармен? Ох, наверное, нет... Ты мне представляешься дочерью августа, какая-то вся коричневато-бронзовая от солнца, с полуобнаженной грудью, бо-соногая, словно давилщик винограда, моя дорогая злючка, льстивая, лицемерная Кармен. Было, было в тебе что-то, негодница, за что в тебя так без памяти влюблялись: было, я говорю, ведь говорю же,—но только в глазах. Игривая, непоседливая, лукавая, как ты только могла, скажи мне на милость, плясать у костра в тот самый вечер, когда из-за тебя пырнули ножом в чисто вымытую шею того полковника, а? Выходит, пока он, то есть полковник, высоко взнесенный, чиновноорденоносный, валялся на земле, как какой-нибудь простой, рядовой солдат, ты, вероломная и бесшабашная, выплясывала себе как ни в чем не бывало, будто ничего особенного и не произошло. Да как выплясывала!.. Что-то было в этих твоих дьявольских глазах, нет, не что-то, а — подойдите-ка поближе, я шепну вам на ушко — св... поняли?.. сво... опять не поняли?.. своб... все еще не поняли?.. Свобода стояла в огромных глазах Кармен, товарищи! Та самая свобода, андалусцы и все вообще, братья, которую называют распушенностью и своевољством, да что, впрочем, я говорю — своевољством, ведь всякая свобода всегда, позвольте ли заметить, своевољство, так что и та свобода, что была в Кармен, тоже все-таки хороша... Ты не знала никаких границ, не признавала никакой узды, Кармен. Свобода стояла у тебя в глазах и никогда не сочилась отту-

5940
11033

да капля за каплей; я говорю, что для тебя не существовало границ, так разве же стала бы ты по собственной воле играть в толстых шерстяных перчатках на пробитой пулей гитаре? О нет, не стала бы! Довольно было тебе коснуться мизинцем одной струны, как ты невольно задела бы и другую, наморщила бы свой чистый, коварно выточенный, достойный пули лоб — ой, что же это вырвалось у меня, ведь я люблю тебя, Кармен! — после еще одной попытки дернула бы в сердцах головой, так что одна серьга подскочила бы кверху, а под конец сорвала бы ко всем чертям эту дурацкую перчатку и зашвырнула бы ее в кусты, где не раз пряталась сама от трезвых пограничников, после чего смогла бы спокойно играть; но что мог поделывать этот жалкий паренек, Бесаме Каро, которому не удавалось уже расшевелить своими огрубевшими пальцами и богатырским дыханием уснувшего в бледной флейте волшебника. Кому дано ковать кувалдой воздух, кроме Лунного юноши?.. Но Бесаме принадлежал не Луне, а дяде Пташечке и был ратником тайной подводной перепалки — ватерлоо — в неочищенной, мутной воде тогдашней Алькараски... Человек-булыжник Рексач размещал восстанавливаемых на малом участке бассейна и начинал свои поучения:

— А ну-ка, Джанкарло, повернись к Бесаме спиной и, держась над поверхностью воды с самым невинным видом, по сильнее отведи ногу назад и так, чтоб сверху ничего не было заметно, пошире замахнись ею, та-ак, замахнулся, да? А ты, Бесаме, дружок, схвати его за ногу и изо всей силы ущипни, так, чтоб у него все нутро перевернулось, а когда он взвизгнет, изобрази на своем лице полное недоумение и оглянись вокруг с растерянной улыбкой... не так, погляди на меня, Каро, а вот та-ак... Еще побольше удивления... Вот та-ак, хорошо, мол-лодеец. Передохните.

У дяди Пташечки был великий изобретательский талант и огромная сноровка:

— Май дарлинг, голубочек мой Тахё, наостри-ка получше свои ослиные уши и слушай меня внимательно. Знай, что ты должен нарисовать на своем лице одну чи-

стоту и непорочность, а ты, Сиско¹, временно уступи ему свою голень. А ну, Тахё, враз зажди его голень между ногами и всю поднатужься, чтобы ее переломить. Хорошо, хорошо, видно, что стараешься от души, только это не должно чувствоваться. И знаете ли, о альма миа, что нужно для этого?

Если не считать рева Франсиско «Отпусти ноогуу!», стояла тишина.

— Не вáрите, нет? Не сечёте, скворушки? И ты тоже, мой Хюан? Ну и тупицы... Что нужно делать? Вот что, четырежды болван Тахюшка: начни перхать, будто бы ты захлебнулся водой, и так зайдись в кашле, чтоб судьи решили, что ты и впрямь помираешь от удушья, затем переходи на отчаянный лай, а сам тихо-тихо продолжай свое дело.

О, как виртуозно, как прекрасно кашлял буйноволовый Тахо, пока другой восстанавливаемый не своим голосом орал: «Ой-ё-ё-ой! Ой, мамочка!!», а Восстановитель с превеликим удивлением окидывал взглядом бассейн: «А где же она, Франсисушка, твоя... мать твою?!».

«Уухх, Картузо...» — в остервенении думал иногда Бесаме. Быть может, и вы тоже помните гисторика Картузо Вавилония? Жизнь его журчала по-прежнему, но однажды с ним приключилась небольшая беда, и — можете ли себе представить? — из-за уборщицы.

Картузо осматривал карманы вышедших на перемену учеников, когда вошла уборщица и спросила: «Можно мне здесь подмести?» Это была ядреная, мясистая баба. И не старая. И не уродка, даже довольно аппетитная. К тому же ворот у нее был не застегнут, а даже весьма основательно раскрыт. «Можно, а как же, — заверил Картузо, опавнув себе грудь ладонью, — сколько вам будет угодно». «Сколько мне будет угодно?» «Да, — браво ответил Картузо, держась гоголем, он даже не икнул, и ничего другого в подобном же роде с ним не приключилось, — и чем больше вы подметете, тем лучше». «Почему, синьор?» — спросила женщина, прижав четыре пальца к распахнутой груди, пятый, большой палец прятался у нее как раз в самом интересном месте, — она тоже оказалась шалунишкой. «По-

¹ Одна из ласкательных форм имени одного из учеников — Франсиско. (Прим. авт.)

тому, — стал излагать свои аргументы Картузо, — что чем больше вы здесь пробудете, тем лучше». «Оо-х, вот вы какой, оказывается, синьор, аа?!» — воскликнула женщина, которой все это было очень приятно. Для Картузо было приятно чуть-чуть поволочиться, хотя, если бы дошло до дела, он бы ничего особенного не смог, но ведь недурно же иногда обменяться с толстомясой бабехой тремя-четырьмя-пятью словечками. Еще продолжая улыбаться, он оглянулся и застрял на полуслове от неожиданности: на пороге высилась Мергрет Боскана, почему-то рановато отпущенная герцогом; она смотрела так грозно, что Картузо совершенно смешался с перепугу. «Что произошло, Мергрет, все в порядке?» «Чтоб эта, с венником, мигом убралась отсюда!.. Подлец! — уже прямо в лицо ему бросила Мергрет. — Строит куры с какой-то уборщицей. Ишь распустил слюни! Ты что, забыл, что ты муж избранницы самого герцога, шваль эдакая!» «Полно, Мергрет, как ты могла допустить подобное, что ты говоришь, в самом деле! — Тут Картузо заверительно приложил руку к сердцу. — Я и такие вещи?!» «Все вы, мужчины, одинаковые скоты! — продолжала бушевать М. Боскана, — вам бы только увидеть юбку...» А вот это было уже лестно нашему Картузо: его сочли за мужчину, и, ободренный, он снова обратился к Мергрет: «Будет тебе, мой цветик, не лучше ли нам, чем тратить понапрасну нервы и ссориться, — голос его стал сладким как мед, — забраться в постельку и поиграться?» «Как бы не так! Только этого мне и не доставало после ванны, я же только что выкупалась! — Мергрет была в крайней степени раздражения. — Укладывайся где хочешь и сам с собой забавляйся».

«Ну хорошо, Мергрет...» — снова начал было Бабилония, однако дальнейших слов подыскать не сумел — у него не было ни малейшего дара фантазии, он этим резко отличался от Рексача, который, как об этом уже упоминалось выше, исключительно владел, вот именно что владел, даром выдумки, и к тому же выдумки изящной, талантливой.

Когда у не имевших за целый день во рту маковой росинки восстанавливаемых уже кишки сводило от го-

лода, он снова и снова заставлял их прыгать в воду, а сам в это время аккуратненько разводил у самого края бассейна мангал, клал на него вертела, отягченные свежими ломтями свежего-пресвежего мяса, и чуть только в воздухе начинал плавать ароматный дымок, благоухающий подпаленным жирком, самым дружелюбным голосом кричал ватерполистам: «Э-ге-ге-гей, мои скворушки! Кто из вас заставит другого взвыть от нестерпимой боли и при этом сохранит невиннейшее выражение лица, тому я суну в рот славный кус шашлыка. Ведь это вам не повредит, верно, а?»

Растравленные аппетитными ароматами восстанавливаемые, у которых от голодного нетерпения рот заполнялся слюной и пушок начинал шевелиться на всем теле, с помутившимися от ярости глазами по-разбойничьи кидались друг на друга. «Оооой!» — взывал слабосильный Франсиско, а Хуан удивленно озирался по сторонам. И Пташечка не заставлял себя ждать... «Молодчага, Хуанито, плыви ко мне!» — и забрасывал ему в широко открытый рот кусок жареного мяса. Тут Жанкарло начинал биться от адской боли, а Тахо преспокойно поправлял себе волосы, и через каких-нибудь пять секунд его алчущий жратвы рот получал свою порцию горячего бальзама — шматок годовалого подсвинка: «Умница, Тахё...» — и так далее.

Торча гранитной глыбой среди бессильно распластавшихся у края бассейна восстанавливаемых, Рексач предавался воспоминаниям из своей не столь уж далекой юности: «Я был тогда капралом¹ моей команды, а капралом одной из команд противников был — уух! врагу своему не пожелаю... Надо было что-то предпринимать, а то бы он нас утопил со всеми нашими потрохами в сырой воде Гвадалквивира. В ночь накануне встречи я ни на минуту не сомкнул глаз, а под самое утро, голубочки вы мои, когда людей обычно посещают великие мысли, меня внезапно осенила бесценная идея, которую я и привел в тот день в исполнение. Есть такое правило, зяблики: перед началом состязания, прежде чем ватерполисты попрыгают в воду, капралы должны на виду у судей дружески пожать друг другу руки. Ну,

¹ Раньше главу команды ватерполистов именовали не капитаном, а капралом. (Прим. авт.).

я с братской улыбкой подошел к тому угрюмому капралу и, только-только подав ему свою драгоценную ладонь, так пронзительно взвизгнул, что зрители аж по-вскакивали со своих мест, а между тем я сам как клещами зажал пальцы удивленно пялящего глаза капрала, предпринимая при этом напоказ всяческие усилия вырвать у него свою руку и изображая на лице нестерпимые страдания, корчась и содрогаясь всем телом от якобы нечеловеческой боли, а когда наконец мне якобы удалось вырвать руку, я рухнул у ног судей в притворном обмороке, вызвав тем бурю возмущенных возгласов вдруг словно опомнившейся публики: «До чего дошли, даже до спуска в воду не могут утерпеть!». Через некоторое время я словно бы через силу поднялся и в наступившей могильной тишине, обращаясь к судье, со скорбным видом пролепетал совершенно расслабленным голосом, но так, чтобы всем было слышно: «Разве я в том виноват, дон судья, что лучше него играю на виолончели, дядя, синьор?» Зал снова гневно загудел. Еще до начала игры публика и судьи взашей выгнали того капрала, а мне оказали медицинскую помощь, туго перевязав мою якобы сильно пострадавшую здоровейшую руку жилами бывшего быка—при этом я великолепно притворно охал и стонал, и когда, уже в разгаре игры, я, подобно герою, преодолевшему боль, спустился в сырую воду Гвадалквивира, вся присутствующая публика—самые сливки валенсийского общества—наградила меня бурными аплодисментами, а я все с той же улыбкой невинной жертвы на добром лице так яростно долбал ногой то того, то этого в живот и похуже!—рраз, два—что вся их команда орала благим матом, в то время как я, удивленно озираясь, поддерживал над водой свою якобы поврежденную, расслабленную, свисающую, как влеть, руку второй рукой. Зал бушевал, гремел от возмущения: «Ээ-э! Оо-о! На что это похоже, судьи?! Вот прицепились к бедняге, чего только на него не клепают! Сапожники, ууу! Судей на мыло! Мехаше!»¹

Всю судейскую коллегия даже сняли с соревнований. А меня, когда я кое-как выполз из воды, весь зал

¹ Мехаше — букв. хашевар, хаш и — блюдо из потрохов. (Прим. авт.).

приветствовал шквалом аплодисментов, отовсюду мне слали сочувственные знаки и воздушные поцелуи, а самая красивая донна повязала мою железную ланциду драгоценнейшим шарфом со своей головки, но еще больше порадовала она меня той же ночью, вот так-то бывает, мои голубочки. Ни одна гениальная мысль не остается без должной оценки и награды. Вы должны прибегать к всевозможным ухищрениям и коварным уловкам — вы же видите, как хорошо я одет, какие дорогие на мне перстни, а тот бывший капрал, наверное, валяется теперь где-нибудь в канаве — он спился».

Раз-два-три-четыре: — шло время.

14.

Ах да, правда, Афредерик Я-с совершенно об этом позабыл — неподалеку от бассейна в поле раскинулись зеленые палатки, восстанавливаемые тут ели, пили, спали, ну, короче говоря, жили. Булыжный Рексач там же воздвигнул себе синюю палатку и частенько, явившись на поверку, оставался в ней ночевать — у него был злой, как цепной пес, тесть, а он-то был совсем не прочь побаловаться — в его вкусе были низкорослые толстухи с округлыми ляжками.

Когда в те отдельные ночи стихали сопение, охи и вздохи Рексача, потрясенные, вернее полностью обратившиеся в плоть восстанавливаемые совершенно теряли голову. Какие только мысли — ой-ё-ёй! — не кружили в их свернувшихся наподобие кислого молока мозгах, какие не томили их желанья! Затаив дыхание, слушали они бормотанье Тахс, которому позволяла кое-что какая-то там девчонка.

— Потом я ее... — шептал в потемках Тахо, — потом я залез пятернею туда, откуда растут ноги...

Тишина. Стояла!

Под самый конец Джанкарло, с трудом шевеля языком, спросил глухим, сдавленным от возбуждения голосом:

— А она что?

— Она ничего, только «ах!»

— И не стукнула тебя? — удивился Франсиско.

— Нет. Наоборот.

Поблизости от палаток стоял ветхий-преветхий, за-тянутый серым мхом, изъеденный плесенью коровник, ко-

торым, однако, все еще пользовались, и ночами нет-нет тишину прорезал заунывно-таинственный звук—то мычала корова, которой, должно, привиделся медведь, а иногда летавший порывами ветерок доносил временами с той стороны неприкрыто-откровенный, вязкий, сладковатый навозный дух вперемешку с запахом прели и плесени.

Совсем иное благоухание носилось над благодатным холмом Касерес, но Бесаме там больше не бывал. Лишь изредка Рексач водил после полдника своих подопечных по окрестностям Алькараса. Он гнал их, сникших в покорности, перед собой, точно стадо, горделиво вышагивая следом. Ребята шли, стыдливо понурившись, а Рексач то и дело приветствовал кивками знакомых, порой весьма и весьма сдержанно, и прилипал глазам к известному месту женщин, шедших мимо в косых лучах заходящего солнца. Но однажды восстанавливаемые, приостановившись, чтоб купить каштанов, стали свидетелями удивительного зрелища: оглянувшись на какой-то душераздирающий утробный рык, они увидели до безобразия мускулистого человека, неопишимо омерзительного с виду. Чугунный Рексач, весь напрягшись и втянув голову в плечи, изготовился к отчаянному прыжку, а неведомое двуногое с взъерошенной шерстью, изогнувшись в дугу, злобно урчало и потягивало. Так они смотрели друг на друга некоторое время, но Рексач в конце-то концов все-таки одержал верх, сломив своим могучим взглядом противника, — тот, незнакомый, едва слышно урча, ползком попятился назад, за угол улицы, и скрылся из глаз облегченно вздохнувших ребят, а когда Франсиско, который совсем сомлел от страха, спросил придушенным голосом: «Кто это был, дядечка?..», Рексач очень гордо отвечивал:

— Это был самый лучший мой ученик.

Но что там гулянье — главным из главного была тренировка. Они теперь часто бывали в комнате с чучелами, где висающие на раскачивающихся веревках питомцы должны были, поравнявшись с чучелами, нанести им мощные удары ногой в предполагаемую грудь, шею, живот. «Хорошо, Хюан, ты в жизни не пропадешь... Продолжай в том же духе, мой Тахё, и ты многого до-

Г. Доча-ташьили. Ватер/по/лоо, или Восстановительные работы.

стигнешь... Джанкарло, радость моя, ты что, ничего сегодня не ел, мать твою?.. Франсисушка, душенька, ты у меня нынче разделишь общество с крысками. Вот так, Джанкарло, воот именно так... А теперь — прямиком в бассейн...

...А ну, Тахё, шибани позабористее в живот Франсиско и при этом с самым простодушным видом проводи рукой по голове, будто бы ты поправляешь волосы, ведь их у тебя слава богу... Хорошо, так, таак, Хюан дорогой, звездани-ка Франсиско по шее, чтоб он перестал верещать... Даа, так, а теперь с безобидным видом утри свое свиное рыло, будто ты и вовсе не замечаешь настороженного взгляда судьи, хорошо, птичка... Каро, дорогой, нырни и поищи Франсиско... Вот таак, хорошо, теперь вытащи его, пусть оклемается немножко, — ишак от хромоты не околеваает...

...Теперь броски, голубочки! Тахё, куда же ты, гниль эдакая, бросаешь, тебя бы, дохлятина, провести через этот мяч¹, мать твою и твоих теток! Хюан, ты молодец...»

А однажды вконец обескураженный неудачами Франсиско — он был из состоятельной семьи — принес и протянул Р. Д. Ж. Рексачу перстень с гагатом и великолепно расписанную вазу.

— Как можно, это неловко, — забормотал Пташечка, примеривая перстень, прежде чем опустить его в нагрудный карман. Затем он внимательно осмотрел вазу, повертел ее в руках. — Чья, шведская?

— Японская.

— А хороша все же, а?! Ну что ж, наше вам...

А потом, обращаясь ко всем:

— Если отныне кто-нибудь коснется ногой Франсиско, голову оторву!

— Хюан, ишак, зяблик мой, как это Джанкарло отнял у тебя мяч? Франсиско, малыш, дай ему по печени. Как тебе понравился пинок Франсиско, Хюанито? А?

...Джанкарло, темнота, звездный мальчик, куда ты плывешь, спрашивается! У тебя на плечах не голова, а тыква, набитая куриными мозгами, сейчас же вылезай и стань у края бассейна, нагнувшись над водой. Иди

¹ В 50-е годы XIX столетия мячи для ватерпола изготовлялись из свиного рубца. (Прим. авт.).

сюда и ты, мой сладкий Франсиско, и дай ему такого пинка, чтоб у него язык вывалился. Таак, хорошо!

— А это что? — спросил Рексач и так впился глазами на ми в удивительно изящную чашечку с блюдцем, что она чуть не треснула под его взглядом. — Неудобно! Японская?

— Китайская, — ответил Джанкарло. — Это вам мама прислала. А вот еще и зонтик.

— Тоже китайский?

— Да-с, дяденька Пташечка.

— Неудобно, очень хорошо. Жаль, сегодня как назло нет дождя. Хюан, гнилушка, какой мяч пропустил! А ну, детки мои, Франсиско и Джанкарло, всплывите с двух сторон возле Хюана и пинайте его, пока у вас ноги не отвалятся.

— Откуда, китайский?

— Нет, дядя, немецкий.

— Но где ты раздобыл такой красивый кувшин?

— Он был у нас дома.

— Он что, правда серебряный?

— А как же, конечно. Да-да, серебряный.

— Неудобно, поставлю на сервант.

— Дерьмовая дубина, Тахё, сколько раз я тебе говорил—не выходить из воды сухим, а ну, детки мои, Франсиско, Джанкарло и Хюан! Окружите, ребятки, колечком этого косматого и...

Родители у Тахо были очень бедные, как говорится, оборванцы, но он сам проявил расторопие — темной ночью прошагал за две деревни, а вернувшись на рассвете, привязал в том самом хлеву стельную корову в дар Рексачу.

Восстановитель довольно долго смотрел на Бесаме, почесывая себе щеку, а потом сказал:

— Я этого Каро-Маро совсем не знаю, дорогие мои. А ну, детки, ты, мой Хюан, ты, Тахё, и ты, мой...

И четверо восстанавливаемых приналегли в мутной воде с четырех сторон на Бесаме Каро...

В ту ночь Бесаме, избитый до полусмерти, зарезанный, до света провалялся, зарывшись головой в кусты, тщетно пытаясь понять, в чем состоит его невольная вина.

Воровать? Но ведь это грешно. А так откуда ему было взять что-нибудь, он же ведь был сирота.



15.

Это ли не своевластие фантастики! — четыре месяца пронеслось как ни в чем не бывало.

Но это здесь, на бумаге, а в действительности—ooo! ууу!.. Все остальные восстанавливаемые младшей группы уселись по указке Рексача не на голову Бесаме, а пониже, и ему, бедолаге, ничего другого не оставалось—плавал он лучше других,—как научиться мощнее рассекать мутную воду. Иногда, бывало, загонят его, запоймают в углу бассейна восстанавливаемые из состоятельных и воришки и учинят над ним свою расправу в четыре пары рук и ног. Бесаме понимал, что тут не помогут ни мольбы, ни стоны, глаза у него наливались злобой, и когда ему самому удавалось ухватить кого-нибудь за голень, он готов был в клочья разодрать эту беспощадную плоть, и тут уж густо напитанный влагой воздух бассейна сотрясался от рева не одного только Бесаме, но и кого-то еще из восстанавливаемых. Долгими почками вечно избитому, вдрызг измороженному Бесаме, тело которого там-сям темнело кровоподтеками, не давало спать мучительно острое желание продержаться, выстоять. Но неужто же это ватерполо и есть сама жизнь?! Беспощадность и взаимное предательство? Уж от Тахо-то он никак не ожидал такой жестокости, ведь они сидели до этого за одной партой. Но что там парта... И все же что, что ему было делать, что предпринять, чтоб как-то спасти себя, ведь бывшие товарищи могут так разделать его, что он камнем пойдет на дно. Что же, что может помочь сироте... И только по прошествии определенного времени он понял: что? сила, мощь, жестокая, неукротимая ненависть, и при всем том главное — это притворство — такой сладкий и вкусный, но как будто бы запретный меж людьми плод.

Днем ли, ночью ли, пополудни или после обеда, вечером или на рассвете — в любую минуту бодрствования — Бесаме копил силы, чтобы суметь побольнее ущипнуть кого-нибудь теми самыми тремя пальцами, которыми он крестился в маленькой сельской церкви; теперь в минуты, когда никто на него не смотрел, он, забив по-

чти до самой шляпки в стену коровника большущий, толщиной чуть не в палец, гвоздь, сжав зубы и дрожа от напряжения всем телом, теми самыми тремя пальцами ми вытаскивал этот неподатливый гвоздь обратно, а потом снова забивал.

Если с бассейна не доносилось могучего рева луженых глоток еще не виденной Бесаме старшей группы, он к ночи тайком туда пробирался и плавал, плавал до изнеможения, со злобным ожесточением рассекая воду. Он втаскивал в гору огромные валуны и, хоть и сгибался вдвое под их непомерной тяжестью, но ни разу не дрогнул, не отступился и непреклонно выполнял поставленную перед собою задачу — донести неслыханный груз до заранее намеченного в уме дерева, а потом, пустив валун под откос, ничем более не обремененный, широко расправлял плечи и дышал на вершине холма полной грудью, сильно, мощно, глубоко.

А в какой-то день он явственно почувствовал, вроде бы в теле у него угнездились маленькие мышата, особенно в конечностях, — если он с силой сжимал кулак и напрягал руку по всей длине, от запястья до плеча, то внутри, в руке, что-то всякий раз безотказно и беззвучно, как мыш, начинало бегать — это были мускулы.

Но те четыре питомца, тесно связанные воедино, пока были все еще сильнее его, и Бесаме частенько бросался улепетывать от них к бортам, нет-нет поглядывая за спину, и если, бывало, кто-нибудь из четверки оказывался намного ближе других преследователей, Бесаме вдруг стремительно подплывал к нему и, орудуя теми же самыми своими тремя пальцами, быстренько доводил его до «ой, мама!», и поэтому из предосторожности те старались держаться кучкой, не разбивая четверки. Вот вам и квартет. При упоминании слова «квартет» Афредерик внезапно вспомнил, что однажды наших восстанавливаемых погнажи, словно овечье стадо, в консерваторию: там их вне очереди впустили на экзамен, и, быть может, вы помните, был такой Картузоага Бабилония, который в самом светлом здании Алькараса обучал темной истории, так вот, он самый долго разглядывал Бесаме с придирчивостью покупателя и под конец спросил:

— Какое самое большое поражение потерпел человек?

Ну и времена настали! Заядлый бонапартист не посмел назвать вслух Наполеона «величайшим» — человек, так или иначе он — враг родины... однако, упорствуя в своем бесстрашии, он, говоря «человек», всегда в глубине души подразумевал эпитет «величайший». Ох уж это бесстрашие! — одно только оно заставляло Картузо не иначе, как в таком плане, думать о Бонапарте, а ведь это здорово, не правда ли?!

Да и только ли одно это! Однажды, знакомясь с неким высокопоставленным лицом, тоже не без посредства Мергрет Боскана (так звали жену Вавилония), синьор Картузо прижался губами вместо кожи руки к перстню, вот каким человеком он был! Все ж таки, что ни говорите, а гордая испанская кровь это вам не хухры-мухры. А теперь, когда он спросил у Бесаме вот так: «Какое самое большое поражение потерпел человек?», тот, отвернувшись к окну, ответил:

— Ватерполо, сэр.

— Как? — переспросил монсеньор Картузо-эфенди, приспособив ладонь к уху — он был не в ладах со слухом. — Как ты сказал, а?

— Он сказал ватерполо, герр, — услужливо гаркнул, предавая однобассейнца, Тахо, да так перестарался, что у него аж пуговица отскочила.

— Разумеется, — весь расплылся Картузо, — разумеется, Ватерлоо. — И тут же добавил: — Обоим пишу «хорошо», идите.

— Я хочу «отлично», — заканючил Тахо.

Бесаме уже смело справлялся с любым дуэтом. Одного лягнет пяткой в живот, другому одной рукой стиснет горло, а другой, свободной рукой в это время с самым невинным видом приглаживает себе шевелюру. «Ну довольно, хватит — не ты же народил его на свет! — кричал ему сверху Р. Д. Ж. Рексач. — Что ты ишак, это всем известно, но он же не ишачий сын. Вылазь из воды, Хюан, и передохни».

Когда, раздеваясь, Бесаме взглядывал в запотевшее зеркало, то его удивленному взгляду представал какой-то грозный и горделивый атлет, вперивший в него тяжелый, устрашающий взгляд. Да что там какой-то, — это Аффредерик Я-с тут немного слукавил, — не какой-то

атлет это был, а сам Бесаме, это самого себя видел он в зеркале, ведь кого же и увидеть, как не самого себя, если ты один стоишь прямо перед зеркалом!

«Давай выходи из воды, слышишь, Каро?! — гремел то и дело человек-наковальня Рексач. — Ты что себе воображаешь! Я же за них как-никак в ответе... Тебе очень больно, птенчик мой Франсиско?».

Сказать вам правду? Теперь Бесаме управлялся уже с целым трио, да еще так управлялся, что ему самому становилось жалко их, беспомощно барахтающихся, с вылезшими на лоб в ожидании страшной боли глазами. Он их даже порой щадил. При этом человек-чугун Рексач тренировал нашего Бесаме в стороне от других восстанавливаемых, в углу бассейна, наставляя всех вместе следующим образом: «А ну, голубочки, сильнее замах ногой, и тут же на лице самая блаженная, самая добродетельная улыбка, слышите, ослы? Джанкарло, конфетка моя, а ну постарательнее замахнись ногой, в то же самое время изо всех своих ублюдочных сил ущипни воду и напусти на лицо свое такое выражение, словно ты видишь перед собой пестреющую цветами лужайку со звенящими ручейками и соловьиными трелями, бархатистых павлинов, сирень, то, другое, третье, словом, размажь по физиономии мед...»

А в один, так сказать, ну, в общем, самый обычный день, только с незначительной переменной облачностью, черед дошел и до плюгавого музыканта:

— Поди сюда, сморчок, и слушай меня.

У края бассейна сутулился мальчик со скрипкой в руке.

— Небось успел положительно подучиться?

— Да-с.

— Полный ответ, свиной хрящ.

— Я за это время успел хорошо подучиться, дядя Пташечка.

— Тогда сыграй мне какие-нибудь там штучки-мучки, самые нежненькие и красивенькие — такие, чтоб морды у моих мулов засветились одной чистотой и негой.

Влажный воздух пропитался звуками скрипки.

— Кто это?

— Это Бах, с вашего позволения, дядечка.
— Нет, не годится, одна тоска, тягомотина, какая-то, — отметил Рексач, ведь и он тоже кое в чем разбирался, — сыграй другое... А это кто же?

— А это, дядь, с вашего позволения, Бетховен.

— Нет, это ни к черту, чересчур мощное, а я хочу таких звуков, чтоб на лица моих голубочков легла печать умиления. Ну, давай дальше, шпендрик!.. А это кто же был?

— Это, с вашего позволения, была одна из мелодий Россини.

— И это тоже не годится, что-то слишком легкомысленное — чирик-чирик, тра-ля-ля. Новое, новое что-нибудь... Э, это я уже слышал.

— Это Гендель.

— Так ты же его сыграл первым.

— То был Бах.

— Ну, этот того же поля ягода, скукота. Попробуй кого-нибудь еще.

На этот раз человек-железо Рексач чуть не растаял и не влился в воду бассейна от ужасающего блаженства:

— Ойии! айии! Уух ты, милашечка! А это кто же? Зверь, настоящий зверь!

— Это, с вашего позволения, был Мендельсон, дя-дюня!

— Грандиозно! А из какого это мотива?

— Это, с вашего позволения, вступительная часть скрипичного концерта Мендельсона, сэр.

— Я тебе дам «сэр», балда стоеросовая, ударь то же самое, душка.

— Во дает! Ну, ребятки, вы же слышите, сукины дети, что это за миронская музыка! Разнежься, Франсиско! И ты, Джанкарло! Я должен видеть у тебя на харе свет блаженства! О-о, что за музыка — в сорок яичных сил, с зеленью и прочее... Хюан, козья голова, взирай с умилением, не хлопай глазами, как олух, май дарлинг! О альма миа, расплывитесь в неге... Бесаме, мальчик, сомкни крепко-накрепко гляделки от блаженного умиления. Я тебе говорю! Так, дорогой, изобрази, что ты подавлен свалившимся на тебя счастьем, во-во, так и держись на поверхности воды. Bravo, ты в этой жизни не нропадешь! Но знай, если ты теперь приоткроешь хоть

один глаз, я тебе двину в зубы, блаженствуй и будь счастлив, мой шер ами. Вот таак, хорош, вот таак!

И тут Бесаме внезапно почувствовал, будто вдруг туго-натуго связали обе ноги, а в скулу кто-то въехал зубодробительным ударом кулачища.

Так бессовестно преданный в миг вдохновенного парения в мире прекрасных грез, Бесаме оцепенел от неожиданности и как обалделый уставился в перекошенное лицо Хуана, который, вцепившись ему в волосы, яростно тянул его вглубь, меж тем как Джанкарло и Франсиско неистово хлестали его по лицу. Теперь одни только руки могли выручить Бесаме, ему уже было не до нападения, только бы не утонуть, и он ожесточенно бил по воде своими могучими ручищами.

Тахо было не видать, это, несомненно, сей отрок сквал под водой ноги Бесаме, набрав, очевидно, побольше воздуха в легкие, прежде чем нырнуть. А теперь Бесаме беспощадно избивали, зверски колотя его по голове и по ошеломленному, растерянному лицу, которое все уже было в кровоподтеках и ссадинах; его хватали за глотку, лягали в адамово яблоко, вырвали ему клочок мяса на боку. Потрясенный ужасом, избитый, покалеченный, нахлебавшийся воды, он с мольбой и упованием вскинул глаза на чугунного Рексача, который как раз в это время, оказывается, орал: «Жмите посильнее, топите его, никто не будет жаловаться, за этого босяка некому заступиться—этот собачий сын беспризорник!» Тут, надломившись духом, Бесаме со всей горечью почувствовал свое сиротское одиночество; все внутри его кричало о бедности, неприкаянности и беззащитности, тогда как снаружи его били-колотили, всячески терзали, и при этом слышалось: «А ты не переставай играть, шпендрик, не то все кости переломаю! Улыбайтесь, пошире улыбайтесь, мой голубочки». А этого Франсиско, это г... в проруби, что-то вдруг окончательно взбесило, и он, идиот непонятливый, чересчур неистово впился зубами в плечо Бесаме, который от нестерпимой боли весь конвульсивно дернулся, и у него мигом освободились ноги — из воды с ревом вынырнул Тахо, из широких ноздрей которого ручьем лилась кровь, а Бесаме уже со всего маху

опустил кулак на глупую черепушку Франсиско, тут же схватил за руку Хуана и переломил ему два пальца; только один Джанкарло оставался пока беззащитным — его Бесаме схватил за уши и так дал ему головой в рожу, что тот, издав душераздирающий вопль, закатил под лоб глаза и отвалился башкой назад, а Бесаме вдовавок еще хряснул ему ребром ладони поперек шеи. «Что ты творишь, парень! — отчаянно орал с суши Восстановитель. — Вот тебе, Франсиско, спасательный круг, а вот и тебе, Джанкарло! Зверюга, что ты делаешь?!» А Бесаме пуще всего душила злоба на буйноволосого Тахо, — ведь я уже вам докладывал раньше, что они сиживали за одной партой, — он погнался за Тахо вплавь и в тот момент, когда тот уже почти избежал возмездия, обхватил его грозной рукой за шею, как куль, сбросил обратно в воду и давай бить, но как бить! Зло, неистово, беспощадно... И в окружающей мути розовой змейкой поползла, извиваясь, кровь Тахо и Джанкарло, а над бассейном хрипло лаял Восстановитель: «...я того, кто тебя сюда прислал!» — мечась в ярости по краю бассейна подобно шавкающей собачонке. Он сыпал на голову Бесаме красноречивейшие проклятья и угрозы, но тот был неудержим, как лавина, верша свою неслыханно жестокую расправу. А тут же неподалеку стоял зачарованный этой бесподобной плюгавенький музыкант с удивительно излишней здесь, в эту пору, скрипкой в заледеневшей руке. Бесаме теперь уже заклеывал Хуана, а выуженные с помощью большого невода Рексачом Джанкарло, Тахо и Франсиско валялись ничком на безопасном месте; только один Хуан еще барахтался в омерзительно гадкой, смешанной с кровью воде бассейна; и тут вдруг на голову Бесаме обрушилась здоровенная дубина. На какой-то миг в глазах у него потемнело, но когда Рексач вновь, вскинув руку, замахнулся, Бесаме успел перехватить дубину пальцами. Рексач весь напрягся, залившись багровой краской, но ему-таки не удалось вырвать у Бесаме дубину, и он очумело уставился на восстанавливаемого, который посмел допустить в отношении его такую неслыханную дерзость. Пока они поедали друг друга полыхающими злобой глазами, Хуан, улучив момент, как ошпаренный, с диким ревом выскочил из бассейна и плюхнулся на спину казавшегося спящим Джанкарло. Пораженный

до ужаса внезапным прикосновением, тот со зверным воем вскочил на ноги, на его вой повскакали со своих мест Франсиско и Тахо, и все они сломя голову бросились наутек. Но как они бежали! Стены бассейна сотрясались от диких воплей—воплей тех, на кого всей мощью обрушилась не знающая пощады и удержу сила. Чудовищно избитых, измочаленных, их приводила в движение лишь отчаянная жажда уберечь свою драгоценную плоть. И как же стремглавы они улепетывали, как силылись перегнать друг друга, и каждому, наткнись он на какое-нибудь препятствие, сразу мерещился Бесаме Каро. Они должны были как-то вынести за пределы бассейна свои растрепанные, истерзанные тела, каждая клеточка которых трепетала, как липа на ветру, потому-то и неслись они как оглашенные — эти когда-то начинающие музыканты, позже — ватерполисты, а теперь — вокалисты страха. Ох и ревели же они. Да-а, это был еще тот квартет! Разумеется, не очень-то складный. И когда они голыми дикарями вырвались на улицу, о-о что за тишина, намного более многозначительная, чем их рев, напряженнейшая, вот-вот готовая взорваться тишина нависла над бассейном, где, судорожно впившись пальцами в разные концы одной и той же дубинки, изо всех сил сжимали ее в руках Бесаме Воды и Рексач Суши, оба достигшие высочайшего накала. До предела напряженные, они все еще неотрывно смотрели в глаза друг другу. Затем Бесаме, до краев наполненный злобой, с затаенной угрозой медленно, постепенно потянул на себя дубинку, и Рексач почувствовал, что еще немного, и он в одежде, вместе с часами, бухнется в ту мутную воду. Он разжал потерпевшие поражение пальцы, и Бесаме легко вскинул дубину вверх, поиграл ею в воздухе, поглядел, поглядел на нее, затем еще раз пристально глянул в глаза Восстановителю и с напускной вежливостью спросил:

— Куда прикажете отнести этот прутик, монсеньор?

Ну и благословенная же все-таки штука этот профессионализм... Несмотря на безграничную ярость и беспредельную ненависть, Рексач не смог не оценить достоинств Бесаме — да, парень годился для настоящего ватерполо.

Бесаме держал дубинку высоко над головой, вероятно оберегая ее от мокроты, и в главном мускуле этой его поднятой руки угнездился не то что какой-то там мышонок или даже, например, мыш — там засела довольно-таки крупная крыса.

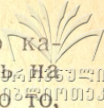
Маячивший туда-сюда на краю бассейна Ригоберто Даниэль Жустинио Рексач попрдержал шаг, видать, о чем-то призадумавшись, а затем сказал:

— Ты переводишься с завтрашнего дня в группу взрослых, Каро. Будешь иметь в месяц триста песо.

16.

Ты видишь, шалая Кармен, как отошел Афредерик, Афредерик Я-с, от избранного им безовсякого давления извне жанра? Надо бы как-то исправить этот промах. Хотя мы наплели уже и так немало всякой ахинеи, и все-таки склоните к нам благосклонно свой почтенный слух: улитка прыгает, слон летает, флейта покрылась плесенью, рыба воет, а волк вяжет чулок... Ну, кажись, мы все-таки кое-что подправили, не так ли, а? — я имею в виду жанр. А странная все-таки штука жизнь, и непосредственно на земле, и немного, сантиметров эдак на сто восемьдесят повыше — там, где каждый из нас носит свою дражайшую главу, в коей каких только гопмыслей не рождается, а для всего этого надобна, бесценные вы мои, бумага, во всяком случае Афредериду.

А Бесаме в бумаге ни чуточки не нуждался — ведь она намокает в воде. Хотя он только и делал, что болтался в воде — этом неиссякаемом кладезе всяческой премудрости исполненного глубочайшего смысла ватерполо — ать-два, ать-два, — но время шло, и наш Бесаме, уже будучи в группе взрослых, которая состояла из восстановленных самых различных профессий и мастей, все лучше и лучше вникал в новые и новейшие секреты Величайшего Поло; скудный арсенал ранее постигнутых приемов — аз-буки — здесь, среди этих поистине восстановленных, походил на младенческий лепет — «агу», если, скажем, сравнить его с словоизвержениями речистого оратора, который беспрерывно разглагольствует в течение семи-восьми часов. У сражающихся зубами был и свой собственный фершал, который осторожно накладывал целительный бальзам на драгоценные части тела



надменных восстановленных, и Бесаме доставляло какое-то неизъяснимое, каменное удовольствие видеть на чужом теле плоды своих рук. Тяготило одно только то, что после жесточайших сражений они должны были на суше вести друг с другом учтивейшую беседу, храня на физиономиях наилюбезнейшее выражение. Но и с этим он свыкся, в конце-то концов и он тоже был человек, наш Бесаме. Жратва, питье, койка были у него бесплатные, а девятнадцатого числа каждого месяца — получай триста песо. Теперь и Бесаме, как другие, трескал каштаны прямо с кожурой, а если ему попадался очень крепкий орешек или даже грецкий орех, он с улыбкой раскалывал его любыми двумя пальцами. В пальцах силы у него было не дай бог; все его остерегались. Затаившийся в большом мускуле уже целый зайчонок вмиг напрягался с приближением человека.

Особое, как говорится, внимание Бесаме теперь уделял мощному удару по воротам, так как Рексач — здесь все его звали дядюшкой, а сам он обращался к восстановленным не иначе, как «братец», — ясно и отчетливо заявил в то время, когда Бесаме принимал присягу: «Каждый автор трех забитых в официальном соревновании голов получит в качестве гонорара право совершенно бесплатного входа в дом, что стоит в конце улицы Рикардо; два гола — полцены, один — полная стоимость, а ни одного — пять дней без жареного мяса, вот так-то, братцы». Но публичными состязаниями пока что и не пахло, из-эх...

Мяч, брошенный рукою Бесаме, летел с таким ураганным воем, что — уух! — и не говорите, просто не дай бог, не дай бог ни нашему, ни вашему врагу... Однажды мяч — ненароком — попал в кряжистого здоровяка вратаря, так после того как его отходили, он обнаружил на своем низеньком лбу целых восемь швов. В тогдашнем ватерполо игра шла не на минуты, а до восьмикратного взятия ворот противника. Хорошее слово игра, не правда ли? На состязаниях ватерполисты поочередно сменялись в воротах после каждого забитого мяча, так что забить желанный гол мог каждый, хватило бы только силы. У каждого из них на чисто выбри-

той голове черной, как деготь, краской была выведена какая-нибудь цифра — номер четыре, пять, шесть или, если хотите, три...

Экз. № 35341
20230101033

На улице все их остерегались. Однажды они учинили промеж себя такой мордобой при дележе наполеона¹, что оказавшийся поблизости разбойник, у которого отняли возлюбленную, так драпанул, что шлепал себя на бегу пятками по затылку. Требовалось сполна восстанавливать огромный расход сил, и восстановленные всему предпочитали не вполне прожаренную на огне коровью печень, выражаясь нежнее — печенку.

Даже один из сильнейших ватерполистов, братец Бернардо, отличавшийся среди восстановленных своей особой выносливостью, способный продержаться на плаву любое потребное время, однажды ревмя ревел, согнувшись в три дуги у себя на постели. Вот где встревожился наш дядюшка Рексач:

— Что такое, что с тобой было?

— Сегодня мяса не было, — всхлипнул братец Бернардо.

— А что же было?

— Только овощное было.

— Как это, одно овощное было?

— Не знаю, одно овощное было, кхик!

— Следовало заказать мясное, что, повара не было?

— Да, повара не было...

— Что же с этим сукиным сыном было?

— Откуда мне знать, что было?

— Вот курва!² — заметил Рексач и добавил: — Не плачь, браток, перестань, потерпи до завтра, я велю, чтоб тебе дали три порции.

— А что мне делать до завтра?

— Бейся головой об стенку, брательник!

Иной раз Рексач приводил плюгавого музыканта с завязанными глазами: «Переступи, таак, хорошо... шагай, шагай, — подталкивал он его, — воот, стань вот здесь и пиликай». Не будь у плюгавого музыканта на глазах повязки, он, наверное, упал бы в обморок,

¹ Существует и лакомство! (Прим. авт.)

² Плохое слово (Прим. авт.).

такие котята, щенки, белки, мышата, зайчишки, червяки, поросята засели в могучих телах восстановленных.



«А ну, братцы, наставьте уши, это Мендхельсон. Видите, какая благородная, патриотическая музыка. Такими должны быть и ваши морды, мои кровинушки...»

Так или эдак, наконец-таки настаал великий день официальной потасовки — в город на соревнования пожаловали тэруэльские ватерполисты. Оо-х, три гола! — улица Рикардо!! В тогдашнем ватерполо состязались друг с другом две пятерки. Бесаме ввели в команду запасным игроком, ему заново тщательно обрили голову с чуть колыхавшейся свежей порослью, и признанный каллиграф нарисовал прямо у него на макушке начальную букву города Алькараса — «А» и рядом с ней номер шесть. Зал встретил ватерполистов овациями, в инкрустированном серебром кресле восседал-рассиживался сам великий герцог Лопес де Моралес. Какой-то буйно-праздничный подъем свирепствовал в бассейновых пределах, горнисты во все легкие наяривали на гремящих трубах что-то весьма и весьма лихое. Восстановленные в полной готовности выстроились у самого водного окоема. Бесаме с робкой почтительностью оглядывал разухабисто настроенную публику, когда зал сотрясли неистовые вопли и аплодисменты — это пожаловал лучший ученик Рексача. Долговолосый малый там же разделся, бросив одежду на вытянутые руки двух сопровождающих, и стал в ряды алькарасских избранников. Какой здравомыслящий человек посмел бы обрить ему голову и написать номер! В тэруэльской команде тоже был один такой, без номера и косматый, но только на груди у него был раздраконен какой-то пейзаж. При появлении главного судьи оркестранты грянули что-то особо бравурное, но музыку покрыли овации. Судья был в лоснящемся фраке, на шее у него сверкала искусственная бабочка, а голову украшала внушительная судейская шляпа. Он торжественно предстал перед стоящими в одном исподнем восстановленными, которые, следуя доброму обычаю, должны были публично

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или Восстановительные работы.

принести присягу. Первым говорил судья: «Шпагой великого герцога клянемся...», «Клянемся, немся, емся, ся», — гудели вподхват мощные голоса вратарей, — «что в братском состязании будем честными...», «честными, ными, ими», «правдивыми и безупречными...», «и безупречными, упречными, речными», «и друг друга как над водой, так и в воде будем любить...», «будем любить, бить, бить...» Аплодисменты вновь сотрясли зал, а затем по знаку того же судьи ватерполисты сошлись лицом к лицу и, по давнему баскскому обычаю, поцеловали друг друга в плечо; и тут наш Бесаме чуть было не взвизгнул: запасной тэруэльцев Т-шестой, незаметно для окружающих, но притом довольно больно, укусил его в плечо — не ждал этого Бесаме, а то разве удивил бы его какой-то укус? А долговолосые меж тем сгорожко, на цыпочках, направились друг к другу, затем медленно-медленно пригнулись, молниеносно соприкоснулись кончиками указательных пальцев, будто бы пробуя раскаленный утюг, и тут же отпрянули в разные стороны, словно бы обжегшись. Рубец бывшей пятнадцатипудовой свиньи по жребию достался тэруэльцам, и их тренер, весь расплывшись от счастья, довольно проурчал себе под нос: «Ух, мамочка родная! Теперь... я всех невест в вашем роду...», Рексач тоже как следует загнул, но в другом духе, а напоследок напутствовал своих: «Не забывайте про Мендхельсона!».

Единоборство началось с разведки, люди добрые. Тэруэльцы вручили мяч своему вратарю, соперники разместились попарно, но на недосягаемом для ноги расстоянии друг от друга, и замерли торчком над поверхностью воды, только кое-кто из наиболее отважных нет-нет подстрекательски выставлял вперед руку — а ну-де, если ты настоящий смельчак, попробуй ухватиться пальцами за мою руку, а ну, попробуй...

Тишину затаившего дыхание зала лишь изредка нарушали едва слышные всплески; необычайное напряжение змеей извивалось в мутной воде... Неожиданно третий номер алькарасцев применил хорошо отработанный прием: он умел так заправски заливаться соловьем, что мог ввести в заблуждение даже старого опытного кота, и когда четвертый номер тэруэльцев,

который держался на плаву спиной к нему, удивленно оглянулся — откуда-де взялся в бассейне соловей?! — четвертый номер алькарасцев со скоростью мысли прихватил его ногу своими нижними конечностями и с Мендельсоном на лице стал ждать решения противников. Если бы в такой ситуации Т-четвертый осмелился что-либо предпринять, то горе ему — в тот же миг его правая нога была бы переломлена, поэтому он вынужден был смиренно молчать и не рыпаться. И если бы по его знаку — таким знаком служил у них высунутый язык — их вратарь не уступил алькарасцам мяча, то, как вам известно, ему пришлось бы на той своей ноге поставить крест. Бывший свиной рубец был по заслугам передан третьему номеру алькарасцев, но тут ему что-то отрывисто рявкнул лучший ученик Рексача и, мигом получив в свою сторону мандражный пас, бросился вплавь и беспрепятственно пошел к воротам противника, играя между рук рубцом, затем вскинул вверх свою грозную руку, яростно замахнулся — и ох! как загудели зрители, как преданно они скандировали: «Аль-ка-рас, каррас!». Рексач только теперь почесал с самого начала раззудевшуюся на нервной почве спину, а А-четвертый возвратил ногу Т-четвертому.

Вратари сменились, долговолосый т-цев с совершенно искаженным от злости и отчаяния лицом перекусал себе все пальцы подряд: разве же это дело — мяч у тебя в руках, а гол забивают эти скоты. Тэруэльцы возобновили игру, послав мяч с предполагаемого центра вратарю. Снова наступила тишина и осторожное телепание на поверхности, а потом долговолосый т-цев, раззявив пасть, как голодный волк, и набрав побольше воздуха, исчез, растворившись в мутной воде. Тут долговолосый а-цев всю забарахтался, ожесточенно размахивая руками вперед и в стороны, чтоб его не прихватил нырнувший, но в арсенале у тэруэльцев тоже имелся прекрасный прием: долговолосый ринулся под водой в дальний угол бассейна, вцепился в ногу А-пятого и передал ее своему подручному — Т-пятому, а сам быстренько под водой же уплыл обратно и с самым безобидным видом вынырнул

Г. Дочанашвили Ветер/по/лоо, или Восстановительные работы.

точно на своем месте, ибо даже в мутной воде он великолепно различал все ориентиры, да к тому же он, проклятый, тоже, оказывается, в совершенстве знал Мендельсона или кого-то подобного, а из-за высунутого языка А-пятого никто не смог сразу напасть на Т-второго, который послал переданный ему вратарем рубец Т-третьему, тот — своему чубатому капралу, а капрал богатырским броском загнал мяч в сетку. Представьте себе, там-сям раздались даже жиденские аплодисменты — так же, как в любом городе, в Алькарасе зритель был, как нигде, объективный.

Когда в сетке а-цев забарахтался второй, а затем и третий мяч, то, хоть в этом не было совершенно никакой вины человека-чугуна — ведь он оставался на суше, — зрители в одну глотку завопили: «Рексач сапожник! Рексач дерьмоо!», а все это по сути произошло из-за Т-второго — он, словно бы по ошибке, уступил свою ногу А-второму, и тот крепко-накрепко прижал к себе этот неожиданный подарок, но оказалось, что доброхотный жертвователю знал какой-то контрприем, потому что тут же высунувший язык А-второй, который молил о рубце, вдруг уступил его противнику. Третий гол, как принято говорить, был забит аналогично — разгневанный А-второй опять принял коварно подsunутую ему ногу и, всеми силами стараясь исправить свою давешнюю ошибку, как клещами впился в нее всеми своими конечностями, да так ее зажал, что, будь это даже камень, и из него бы, кажется, потекло масло, однако вся прелесть контрприема заключалась в том, что он действовал тем эффективнее, чем больше лез из кожи обманутый.

Тут была произведена тактическая перестановка: к Т-второму переместился А-первый, но безотказная приманка и его также завела в капкан, а косматый а-цев, которого снедала ярость и вовсе не тревожила судьба сокомандника, поступил несолидарно — обуреваемый страстным желанием забить три гола, он, будто не заметив высунутого языка товарища, не уступил мяча, а предпринял бросок издалека. Бросок, правда, получился очень мощный, но, как говорится, не в ту графу — рубец лишь вдребезги расколол хрустальное стекло золотых часов, которые были глубоко запрятаны в переднем брючном кармашке одного бо-

лельщика, а А-первого со сломанной ногой опрометью потащил в раздевалку целый отряд лекарей, там ему с деловитой суетой, под заученно-бездушные уговоры «Ничего, милый», «Потерпи, дорогой» — живо ваткой жили заранее подготовленную влажную повязку, а тэруэльцы об эту самую пору загнали в сетку четвертый рубец.

Нет, господа, что там ни говори, но это было уже слишком! Весь зал застыл, как залитый желе. И в самом деле, как это так: выступать в своей провинции, в своем возлюбленном городе, в мутном лоне родного бассейна, перед преданными и обожаемыми своими согражданами и проигрывать со счетом четыре — один?! Нет, господа, нет... Все повскакали со своих мест и разверзли пасти... Для Рексача было уже мало дерьма, его обзывали и похуже, а один истинный интеллигент кричал вне себя: «Вы, как тренер, хромаете на обе ноги, синьор Рексач!», и давший трещину человек-чугун отвел в сторону запасного игрока и ну ему торопливо нашептывать: «Слышь, мой Бесаме, на тебя одного вся надежда, не подкачай, милоч! В твоих руках сейчас честь, совесть и достоинство всего города. Даю слово, что даже за два гола я совершенно бесплатно буду водить тебя четыре дня подряд в конец улицы Рикардо. А ну глянь-ка сюда», — и он, чуть откинув полу куртки, показал своему запасному прикрепленное к подкладке сверхблаженное сверхчудо — женщину в пикантном дезабилье, небольшую репродукцию с работы одного художника по фамилии Рубенс. Он продолжал вертеть ее перед вылупленными от изумления глазами Бесаме, то и дело натягивая подкладку куртки. «Если ты сегодня не оплошаешь, то будешь баловаться с такой вот красулей на пуховике, мой Каро...» И на смену А-первому головой в воду бултыхнулся распаленный до высшего накала детина.

Попридержите дыхание, господа, еще немного и в ватерполо начнется новая эра, мы все вот-вот станем тому свидетелями и потом будем заносчиво трепаться перед соседями, знакомыми и незнакомыми, что присутствовали на таком неопишемом зрелище, которое

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или Восстановительные работы.

поразило бы и акулу, если предположить, что ее иу-
стили б в эту мутную воду.

Все начинается с разведки, милые вы мои, так по-
чему же это невиданное зрелище должно было соста-
вить исключение — разбившиеся по парам, держась
стоймя на плаву, пока что едва-едва, осмотрительно
шевелили крысоносными и кошконосными конечностя-
ми, у всех у них отросло по десять ушей и еще побо-
лее глаз, тела их со вздыбленной шерстью так и дро-
жали от напряжения, но главное, главное в этом де-
ле все ж таки чутье... Зрители притихли в ожидании
чего-то грандиозного — кто сказал, что нет предчув-
ствия! — они знали, они всем своим существом пред-
чувствовали приближение чего-то великого и, вытянув
шею, с крепко стиснутыми зубами и расширенными
ноздриями, ловили каждый вершок зрелища, едва ды-
ша от возбуждения, кто-то даже, пересилив себя, со-
владал с кашлем, и как раз именно в этот момент Бе-
саме почувствовал, как к его колену прикоснулся кон-
чик ноги того мастера жульнических проделок. Вы
думаете, он не мог дотянуться, мог, да еще как мог,
и, разумеется, принял бы этот дар, и не просто при-
нял бы, а схватил и впился бы в него — ох как —
изо всей мочи, со всей ненавистью, но в нем загово-
рил некий огромный талант — плодовитая на выдумку
плутоватость попавшего в город крестьянина, которая
в нем со временем все более совершенствовалась, —
и он не стал очертя голову бросаться в бой, а через
не могу обуздал себя, хотя руки и ноги у него так и
зудели от нетерпения. А Т-второй повторно предложил
ему с показным простодушием свою якобы безобид-
ную ногу — ох, какой подарок, оох! — с виду Бесаме
продолжал бездействовать, на самом же деле времени
он не терял, с лихорадочной быстротой обдумывая что-
то, причем перед его мысленным взором беспрестан-
но маячила как предостережение переломанная го-
лень предшественника. И вот он принял решение. Спер-
ва он одной ногой крепко зацепил коварный пода-
рок — в глубине глаз Т-второго на миг промелькнуло
злое торжество, — затем потянулся рукой, якобы
в помощь своей ноге, и даже пригнулся для этого, и
вдруг внезапно схватил своего противника за глотку,
да так сжал, что у Т-второго по-настоящему вывалил-

ся язык, и тэруэльцы мгновенно уступили пузырь Бесаме, который, пренебрегши истошным воплем капрала: «Пасуй сюда!» — опрометью ринулся вплавать к воротам противника, легко играя рубцом между рук, однако он успел заметить, что капрал т-цев нырнул в воду, и поэтому отплыл в сторону, вскинул над водой руку с пузырем и так переждал, пока капрал т-цев после тщетных поисков в мутной воде ног Бесаме несолоно хлебавши вынырнул на поверхность, удивленно тараща глаза. Тут Бесаме прицелился и бахнул отяжелевшим от воды мячом прямо ему в харю, да как бахнул, оох!, а потом снова овладел отраженным мячом и вторично наотмашь размахнулся... Теперь вратарю т-цев оставалось утешаться только тем, что сам он не был частью разлетевшейся в ключья сетки. «Бесамеээ, звеерь!» — в любовном восторге орал народ, присутствующие, общество. А отряд лекарей проворно волок в пункт Т-второго и капрала тэруэльцев, этих только что плутовавших удалцов, валявшихся теперь без сознания, бессильно свесив с носилок свои мощные длани, причем пейзаж на груди капрала т-цев приобрел теперь новую окраску — живой крови. «Бесамеээ, бравоо, Бесамеээ, браво, салют!» — надрывался народ, а капрал а-цев подплыл к Бесаме, чтоб наказать его за недавнее ослушание, но не успел он прошипеть: «Почему ты не дал мне нас, сука!», как Бесаме переломил ему мизинец и большой палец, — эти главные два пальца, эту альфу и омегу ватерполо, — которыми вцепляются в мяч.

Нервно кусавший побелевшие губы тренер т-цев, на котором совершенно не было лица, решил использовать новую тактику — поскольку два его самых дошлых игрока испарились меж водой и сушей, он приказал сигануть в воду двум ражим парням из запасных — это были силовые бойцы, но Бесаме уже сорвался, и сорвался не просто как отлетевшая брючная пуговица, а как неудержимый горный обвал, и прежде чем буйство трех улеглось, Бернардо а-цев, улучив время, двумя индивидуальными прорывами сравнял счет. Между тем заварушка трех стихла, и если до сей поры по-

испански экспансивные зрители не могли за шквалом брызг ничего толком разглядеть, то теперь все вочию узрели великолепный итог борьбы — оба силора выжили, оба свесили на сторону ворсистые языки, Бесаме Вод требовал подачи и, что и говорить, получил мяч, а получив, вприпрыжку понесся к воротам т-цев и так здорово навернул, что при следующем броске вратарь т-цев мигом унырнул в воду, а тренер т-цев, потеряв сознание, бессильно осел у края бассейна, и обморок его оказался настолько глубоким, что наиболее сообразительный член отряда лекарей поспешил схватить его за известное место, а весь зал, все алькарасское общество так неимоверно мощно скандировало: «Be!! sa!! me!!, Be!! sa!! меээ!!», что проснулся не один только главный судья, — усиленно захлопал глазами и забравшийся где-то далеко в сено, не спавший всю ночь разбойник, у которого отняли возлюбленную; навестила ушки и притаившаяся за узеньким окном донна, причем ей на какое-то время даже померещилось, что народ так бурно приветствует ее вернувшегося бывшего поклонника, но нет, ох, нет, — все восторги полностью относились к Бесаме, который теперь, уже в раздевалке-одевалке, пресыщенный похвалами, раздраженно выслушивал нестихающие застенные словесия; здесь же сидел, развесив уши, капрал а-цев, и Бесаме, чтобы окончательно утвердиться в своем превосходстве, бросил ему как бы между прочим: «Поддай-ка мне вон те мои брюки, герой, да-да, вон те самые». Но главнейшее из главных ждало его тогда, когда Рексач вывел его на улицу, слегка ласково подтолкнул в спину и сказал: «Я с деньгами иду за тобой, а ты, Бесаме, а ну-ка, смиир-но, к концу улицы Рикардо шагоом арш!»

17.

Как летит время?!

Как будто совсем незаметно...

Как это ни удивительно, но, оказывается, и в те времена деньги были распрекрасной штуковиной, называется — жрать хочешь, выпить хочешь, женщину хочешь, новые тряпки хочешь или вареный арбуз, по-

чета-уважения хочешь или еще чего, короче — все, чего ни захочешь, все получишь за деньги.

Только надобно их иметь.

А у чубатого Бесаме их куры не клевали. Уж не говоря обо всем другом, одно капральство — восемьсот песо. Но пусть и это побоку. Ведь каждый гол приносил денежки. Но даже если всего этого не считать, состоятельные люди из числа болельщиков — герцоги, зеленщики, главы городов, официанты, древолесники, адмиралы, философствующие в угоду герцогу философы, контрабандисты и все прочие им подобные — щедро сыпали на голову Бесаме всевозможные подарки за каждый ловко проведенный болевой прием и, конечно же, не могли нанести ему ни малейшего увечья — ведь у Бесаме, гордого Бесаме, был такой громадный чуб! А уж эти любвеобильные сердцеизливающие донны! Ночью в окно влетал золотой медальон с драгоценным камешком и прядкой волос внутри, увернутый в благоухающую духами записку: «Носите тайно, К-о. Т. К.». Бесаме открывал золотой складень и, сильно дунув, освобождал сей предмет от пряди. Золотую вещицу уносил кто-нибудь из бритоголовых а-цев, а записка и прядь волос находили свой конец в камине под ленивые зевки Бесаме. Ничего, жилось как будто недурственно...

А какая прелесть было выйти на улицу. Будь хоть дождь-передождь, за Бесаме следовало худо-бедно человек сорок поклонников. Гордо и надменно ступал он по улице, а в уши ему словно мед капали исполненные почтительного восхищения слова: «Это Бесаме, Бесаме это, знаменитый Бесаме!» А по солнечным дням за ним тянулось подобие пестрого выпукло-вогнутого хвоста — поклонники попадались разного роста и возраста и одеты были по-разному, ведь болельщики — это особый народ... Встречные с растерянной и умильной улыбкой уступали ему дорогу и сразу же вливались в этот всеприемлющий хвост. Так и шагал великий Бесаме по завоеванному городу Алькарасу, а коли он, бывало, остановится у маленького окошка, в тот же миг останавливается и хвост. Бесаме протягивали пригоршню каштанов и при этом с него не брали

денег, и он, ровно бы это его удивило, только пожимал плечами. Хорошо еще, что он трескал капитаны прямо с кожурой, а то, брось он кожуру на мостовую, алькарасцы перебили бы друг друга из-за сувенира. И все это потому, что Бесаме со сногшибательным достоинством пронес трехсложное наименование и честь маленького городка Алькараса по всей Испании: в Валенсии — 8:3 и в Сарагосе — 8:1; в Альбасете — 8:2 и в Сеговии — 8:5; в Пеньяррое — не припомню; в Вальядолиде, Бургосе и Памплоне — соответственно — 8:1, 8:0, 8:0; в Бадахосе — 8: ни одного и в Мадриде¹ — 8 и всего один... В промежутках между этими играми они всегда возвращались в родное лонно, были встречи, то, другое, браво, туш, цветы. «Мы с ним сидели за одной партией, — говорил Тахо, — будь я последняя стерва, если вру...», но ни одна баба ему не верила. В поездках Рексач возил специально для Бесаме особый провиант — еду и питье, чтобы учтивые и всегда готовые к услугам и ко всему прочему повара хозяев не подсунули ему в еду в день игры чего-нибудь послабляющего. Когда Бесаме тренировался, Р. Д. Ж. Рексач, присев на корточки где-нибудь поблизости на полянке, старательно нарезал лучок для шашлыка из наисвежайшего мяса, а после игры, согласно священному адату гостеприимства, состоялся банкет, и хрустальная посууудаа... У Бесаме был отменный аппетит.

Прославленный капрал а-цев должен был много чего знать и знал бы, но: второй т-цев был большой рифмоплет — что тебе куплеты, что частушки, но старался он для другого — Бесаме должен был и в этом быть первым, и однажды в Лебрихе, на предшествующей матчу пресс-конференции, он так ответил на довольно бездарный стишок капрала противников:

Я с командою — Отелло,
Ты с командой — Дездемона.
Был фракийский раб Спартак,
Мы зажмем тебя в кулак,
При-кон-чим! —

¹ Мадрид — город в Испании. (Прим. авт.).

и сорвал аплодисменты: кто из нас не ценит остроумия, не о Мендельсоне же вспоминать...

Что могло поставить предел доходам... Хотя скажем, в Кордове: «Я влюблен в одну сеньориту, — волновался номер третий к-цев, — дайте мне забить, если можно, что вам стоит, великий Бесаме, два мяча, если это возможно...» «А для чего тебе это, малыш?...» «Тогда она меня полюбит!» «Сколько дашь, если...» «Три тысячи, великий». «Ладно, — великодушно согласился Бесаме, но при этом добавил: «Но за каждый».

По указанию главы города он крушил старые дома, только по ночам. Что могло исчерпать доходы...

А так, вообще, чего ему могло не доставать, как вы думаете? Ничего. Натренировавшись до одури и сытно поужинав, он заваливался спать и дрыхнул беспобудным мускульным сном, а утром, по пробуждении, его снова манила мутная вода, волны, всплески. Ну а по вечерам, засунув руки в карманы, набитые песо, он, посвистывая, направлял шаг к концу улицы Рикардо. Совсем немного — и он уже сидел там в засургученной комнате, привольно откинувшись на спинку кресла и заложив руки за голову, с игривой щупленькой проституточкой на каждом колене. Одна ласкала его могучую грудь, вторая подносила ему питье из смеси апельсина и граната, третья до блеска начищала его пуговицы, а четвертая — еще кое-что. Затем прославленный Бесаме уединялся с одной из них, и в такие ночи он особенно хорошо спал, но — поверители — плоти все же чего-то не доставало. А тут как раз преподаватель консерватории по имени и фамилии Картузо Бабилония — был такой, если помните, — подал главе города полезный совет, который и был приведен в исполнение.

Каждый день поутру, в двадцать минут седьмого, Бесаме поднимался на колокольню, широко расставив крепкие ноги, выхватывал из-за пояса заткнутый там наподобие обоюдоострого меча тромбон и подносил его к округленным губам — к губам, знавшим больших и маленьких женщин. И тоненько нависший над городом по-утреннему свежий воздух резко и

грозно, точно снаряд, раскалывала мощная трезвучная мажорная октава: рээ! фа диез! ляааа!! рэээ!!! — так что ровно в двадцать минут седьмого по мадридскому времени¹ алькарасцы под этот звук пробуждались, и не удивляйтесь особенно столь строгой точности, ибо именно в этот час появился на свет главноначальствующий провинции Мурсия великий герцог величайший Лопес де Моралес.

И за это прикиньте еще тысячу песо. А неявка на соревнования ему, конечно же, не засчитывалась — уважительная причина. Вот так-то, именно так.

Теперь он действительно ни в чем не знал недостатка — он был Ватерполистом! Был! И еще, с вашего позволения, был он и музыкантом, а это тоже прибавляло ему веса в глазах людей — и атлет, и еще при этом музыкант. Ох, как здорово, как умопомрачительно приятно было прогуливаться по улице, вызывая одним своим появлением лихорадочное перешептывание, которое он на лету хватал настороженными ушами: это Бсм, втпст Бсм... — все это радовало слух, радовало глаз, однако Бесаме делал вид, что ничего не замечает. И как ярко светило солнце, как оно играло на его украшенной позументом одежде, насквозь пропитавшейся духами... Да, по поверженному к стопам городу Алькарасу между рядовыми пешеходами шагала великий Бесаме — ватерполист и извергатель звуков одновременно, дааа...

Но чего только в жизни не бывает! В Эсихе ему встретился капрал, но какой! — вы даже не поверите: он тоже, оказывается, был какое-то время музыкантом, вот они и разговорились на одном из собеседований на лоне природы, которые непременно устраивались в целях укрепления взаимосвязей, и сразу нашли общий язык:

— Вы на чем играли, синьор? — так спросил капрал э-цев.

— Я и теперь играю, только на тромбоне. А вы, синьор? — так спросил великий Бесаме.

— Я дул в валторну, дон Бесаме.

— Хороший инструмент валторна, дон.

Сильно подморозивало, но это только для всех

¹ Надоело, ну! Сколько можно все разъяснять! (Прим. авт.).

других, а вот эти сидели на лужке голыми по пояс и исподтишка приглядывались к мускулатуре друг друга, а так, для отвода глаз, сдували пух с поздних одуванчиков.

— Можно вас спросить об одной вещи, синьор?

— Сделайте одолжение, синьор.

— На чем вы в свое время споткнулись, дон?

— Я в свое время не смог сдать гишторию, дон.

— Гишторию? — поразился капрал э-цев. — Да ведь это очень просто: история писана черным по белому, дон!

— А вы, синьор, — пришел в раздражение великий Бесаме, — а вы что не смогли сдать, дон?

— Я срезался по гармонии.

Говори с таким!

— Но гармония, уважаемый, должна быть у настоящего музыканта в крови, почтенный.

Капрал э-цев набычился:

— Значит, по вашему мнению, я не настоящий музыкант?

— Нет! — со всей откровенностью прямо в лицо ему выпалил Бесаме.

— Как это — нет?

— Но вы ведь сами изволили это сказать.

— Нет, такого с моих уст не слетало, — взбелевился капрал э-цев, у которого были такие толстые губы, что он ими едва шевелил.

— Как так не слетало, сударь! — взвинулся Бесаме. — Ведь ты же сам сказал, что срезался по гармонии.

— И что же ты хочешь этим сказать, малый?

— То, милейший мой, что настоящие музыканты по гармонии не режут, только одно это, мой хороший.

— Мы это уточним под водой, — буркнул капрал э-цев. А был он здоровяк из здоровяков.

— Да, действительно уточним, осёоол! — высокомерно отпарировал Бесаме. Кто же мог удивить его силой, когда он сам был победителем сильнейших? Однако он все-таки хорошо напоролся, и когда по возвращении в Алькарас его спросили: «Что с твоим гла-



зом, Бесаме?», он только и ответил: «Э-е, пустяки, тебе надо было на него посмотреть. Ну а ты как живешь, как себя чувствуешь, а?»

Прогуливаясь за городом, Бесаме повстречался с девушкой — Рамоной Роши.

— Сколько времени я тебя не видел, деваха, — беззастенчиво разглядывал ее Бесаме. — А ты изменилась, знаешь.

— Два года.

— Изменилась к лучшему, определенно к лучшему, — пялил глаза Бесаме. — И под платьем что-то чувствуется. Да так оно и должно быть... А не пора ли?.. Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Очень хорошо, — заметил Бесаме. — Может быть, вышла замуж, а?

— Нет.

— И тебе не страшно здесь одной? Ты такая хорошая, свеженькая.

Девятнадцатилетний остолоп и семнадцатилетняя девчушка.

— До свидания, я пойду...

— Куда пойдешь, что ты говоришь? — и Бесаме придержал ее за руку только одним пальцем, но каким пальцем... — Пошли, пошли в лес, девуля!

— А что нам там делать, в лесу...

— В лесу я должен тебя научить чему-то очень хорошему, девонька, пошли, пошли, ведь ты же умница, не так ли? Ты ведь не станешь упрямиться.

— Отпусти руку!

— Пошли, плутовка, не то я сейчас перехвачу тебя вокруг талии, а это будет плохо, — говорил Бесаме, поначалу лишь слегка подталкивая ее к ближайшему леску, — полежим мягонько, ведь трава-то недаром растет.

— Ой, рука!

Девятнадцатилетний остолоп и семнадцатилетняя девчушка.

— Иди-ка лучше своей волей, я тебе советую, горлинка, а то сам потащу под мышкой. Ты же пока не знаешь, чему я хочу тебя научить, поверь, тебе понравится.

— Животное, зверь! Ой, помо....

— Ну, ну, помалкивай, — строго приструнил ее Бесаме, прикрыв ей рот каменной ладонью. — Все вы так сперва ломаетесь. Ну-ну, покобенься, ладно уж, тебе это зачтется за честность. — Он легко шагал к лесу с барахтающей ношей под мышкой. — А ты не спрашиваешь, каково мне — я уже второй день без бабы. Ты не хочешь, зато я хочу, а почему должно быть по-твоему, а не по-моему? Ты что, сильнее меня? — Лес уже был недалеко. — Если даже ты честная девушка, все равно. Все вы, женщины, одинаковы, всех вас надо вот так хватать...

— Не оборачивайся!

О-оо, что это был за голос! Бесаме остановился.

— Стой так.

Голос был тихий и спокойный-преспокойный, но Бесаме дрожал как осинный лист. Рамона уже стремглав бежала домой, а он все еще продолжал стоять в оцепенении.

— Слушай меня.

На его плечо легла всей своей тяжестью большая, массивная рука музыканта, Великого Христобальда де Рохаса. И, словно при появлении льва, сразу неизвестно куда подевались все крысы и кошки, собаки и зайцы, населявшие конечности Бесаме.

О-оо, что это был за голос, какое напевное, бархатное канто!

У меня ходила в стаде
одна овечка,
что от ласки превратилась
в дикого зверя.

— Ты помнишь, Бесаме?

— Да.

— И всегда помнил?

— Да.

— Лжешь!

Останься в нем хоть парочка зайчат, ох как бы он припустил наутек...

— Ты же был человеком, что же превратило тебя в зверя?

Мальчик стоял весь съежившись.

— Чего ты важничаешь, чем ты кичишься, что у тебя есть...

И тут вдруг Бесаме почувствовал, как, ^{затаив} заставившийся до сих пор где-то в глубинах его существа, беспокойно шевельнулся крохотный мышонок, и одновременно кто-то принялся грызть в его полных песо карманах, и эти мышинные огрызки впивались в тело, будя силы, придавая духу. Он порывисто вскинул голову и сказал:

— Я богат, как Альба.

На его темя опустилась рука:

— Ты нищ, как Иисус.

Он весь сник, обвис, словно тряпка, и страшно, смертельно побледнел...

— И твой Альба был нищим, не так ли?

Согласился:

— Да.

— Иди, шагай.

И он пошел, ощущая на голове и на плече мучительную тяжесть лежавших на них рук, будто он, мальчик, превратившись в поводыря, указывал дорогу слепцу, сам не зная куда. Наступал вечер.

Наступал вечер, спускалась тьма, а он все шел и шел по знакомой чем-то тропинке, осторожно и медленно ступая отяжелевшими, грузными ногами. А ночь была черная-пречерная.

И вдруг он понял по запаху! — они остановились подле коровника. Он стоял и ждал. Ветром доносило какой-то гнусный смрад. Он стоял и ждал.

— Пошли, войдем.

Внутри коровника застоялось липкое, кислотоватое зловоние. Бесаме ощущал голенями промокший навоз. Гнилостная вонь терзала обоняние, не давала продохнуть.

— Знаешь, где ты?

— Да!

— Нравится?

— О нет!

— Помочь тебе?

— Да!

— На, держи.

По телу пробежала дрожь. Здесь, в мутной мгле этого грязного загона, по колено в омерзительных не-

чистотах стоял и стоял Бесаме с такой чистой, прохладной, голой флейтой в руках... Рука старца стала тяжелой и вонзилась в плечо когтями, она намеревалась спасти Бесаме, рванув его вверх... А мерзостное липкое месиво тянуло его книзу, дыхание спирало от ядовитых миазмов. О, что это было за чудовищное зловоние! Такое нестерпимо отвратительное, удушающее... И ниоткуда не видно было спасения.

— Поднеси к губам и облобызай!

Ночь была беспросветно темная!

А у флейты...

18.

А у флейты была жиденко-серебристая, трепетно-нежная душа Луны, и здесь, в этой грязи коровника, жизнь в ней, так надолго заброшенной сиротой, жизнь в ней лишь едва-едва тлела, но теперь на нее, до сей поры беспощадно отринутую, уже начинало нисходить упование, потому что отогревающаяся и раззудевшаяся от тепла душа сироты добралась до нутра того волшебника и заставила его зашевелиться.

Здесь, в этой невыносимой затхлой вонище, принимая дыхание глубоко преданной ей души, бестелесно легкая флейта исходила тоненькими, прозрачными звуками, и в непроглядной тьме с легким шелестом, поблескивая, пробивались серебряные побеги, ибо ведь флейта была веточкою Луны. И хотя стояла глубокая черным-черная ночь, чего только не вытворял в этой чернильной тьме истосковавшийся от безделья тонюсенький призрачный волшебник: он будто обласкивал — во имя возвышения — все и вся вокруг своими большими ладонями, и густой, застоявшийся, камнем нависший смрад растрескивался под нежными звуками, и рассеивалось, улетучивалось все гадкое и мерзкое. И кто бы мог подумать, что он в состоянии обрести такую мощь в этом затхлом заплесневелом коровнике. Провалившись столько времени во сне, он теперь, вдохновленный, замороженный трепетно-нежным дыханием, потягивался, томимый желанием. И чем только не располагал этот властитель Ночи, чтоб обласкать, да-

же и оставаясь в коровнике, этот лес, этот холм, такое огромное небо... Словно курящийся ладан, флейта очищала воздух от всякой нечисти, даровала покой и умиротворение, ибо она, первейшая из инструментов, подобно еще одной только скрипке, несла в себе самое главное из всего того, что есть на всем белом свете, — Свободу и Любовь. И как будто бы поправший всех других, а на самом деле поправанный и приниженный, наш Бесаме с мягко всхолмленных вершин музыки вновь видел землю с суетящимися на ней, точно мураши, людьми и ватерполистами. И что же было в этом слабом звуке, исполненном при всей нежности столь великой силы, что ж это было — сорвавшаяся с гор лавина? Землетрясение?.. Выросшая из океана огромная синяя гора, вздыбленная присущими океану чувствами?.. Что же это все-таки было — величайшая рука извлекала из недр дымящегося вулкана волшебные соты. Что это было? А Музыка, всевластнаяладычица мира — Музыка. И что ей было до затхлости и языческого зловония! В этом грязном загоне не как завоеватель — боже упаси, нет! — а как мироносец стоял наш Бесаме, и лицо Великого Старца приняло суровую лепку, ибо кому как не ему, большому музыканту Христобальду де Рохасу, было знать цену утраченным и ныне вновь обретенным сиротой и заново сметанным звукам, знать цену этим явственным тягостно-легковесным снам! А уж этот волшебник, чего он только не выделял: на высоких нотах он как бы подпрыгивал, чтоб сорвать свисающий плод, а на низких поддувал ветерок и снежило. Туман лежал над дальними садами, какой-то неведомый лик рисовался в глубоком колодце, на лужи сеял мелкий реденький дождик, а на морском дне замер обреченный мокроте диковинный кустарник. В звуках флейты было что-то чистое, как слюна спящего младенца, тяжело свисающая с подбородка, а сама флейта рабски покорствовалась тому напитанному тьмой воздуху, который тянулся светозарной дорогой ввысь, ибо Луна была самым благодатным, самым добродетельным среди рассеянных в пространстве синих островов с прозрачным воздухом и чудодейственной землей... Тоненькие порхающие звуки насквозь пронизывали очищенный коровник, осеняя его облегчением и отрадой, явственно ощущался аро-

мат хвои, потому что Бесаме сам походил теперь на волшебное, дарующее нам дыхание шишконосное растение с одной-единственной волшебной ветвью, на которой диковинным плодом прорастала сама она — бездонная и бескрайная, сама она — богатая и щедрая, сама она — беспредельно милостивая, сама она — вольная, плавно вибрирующая в воздухе скрытая мощь, сама верховная властительница нашего высшего повелителя, нашего всеобъемлющего владыки — воздуха, сама она — великая вдохновительница, сама она — Музыка!

Мальчик натягивал на себя пожалованную Великим Старцем одежду — обычное платье крестьянина; брошенные там же рядом, фальшиво поблескивали обшитые позументом брюки и куртка с эполетами. А из темноты звучало: «Твердо запомни, Бесаме, что звуки в воздухе не теряются». Даа, Бесаме знал, хорошо знал, что набухшие смешанной с наслаждением болью частицы настигнут и его оболваненных собратьев и их тоже облагородят. «И какие бы долгие времена ни прошли, Бесаме Каро, времена Альб и Каллигул, крови и ужасов, пронизывающего трепетом страха и великих потрясений, звуки все равно остаются и каплют в наши уши, и еще не случилось на свете, чтоб какая-то хоть самая крохотная их часть потерялась!» — Он повязал ему через лоб и затылок прохладный бархатный плат — этот надежный знак флейтиста. «По пути, в Кордове, Каро, та сестра омоет тебе тело... А что делать с твоими песо, мальчик?» «Пусть они будут нищим». «Когда их одарить?» «В День Светлого Воскресенья. А много их, нищих?» Старец вновь возложил ему на голову свою крупную ладонь и чуть-чуть его подтолкнул. И, прошагав ночь напролет к деревне, Бесаме видел, как медленно-медленно, будто в тяжких вселенских родах, занимается заря и в светлеющих даях постепенно обрисовываются земля и небо, и понял он, что схож рассвет с первым пронзительным криком новорожденного, понял, почему мир озаряет сияющий свет и для чего затем бесшумно спускается ночь, и, как истый человек мира и человек земли, Бесаме днем пахал, жал, поливал, а флейта

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или Восстановительные работы.

его, поскольку она принадлежала Луне, все же предпочитала ночь, да, да, предпочитала ночь. После полноты Бесаме осторожно выходил из своей пещеры, как же нежно, как чисто заливались бубенчики Луны над ближними, не знавшими собак деревьями, над спящими крестьянами — тружениками этой благодатной земли, ее хозяевами и рабами; какое облегчение и какую отраду несли звуки этого самого таинственного инструмента. Чувствовал облегчение и сам Каро, вновь сирота Бесаме, ибо его, стоящего на земле босыми ногами и облагораживающего флейтой ночь, уже не мучили и не тревожили больше сомнения: «Зачем я есть. Для чего...» Будто бы в полном одиночестве сидел он в семядоле Ночи, окутанный, как всеобщей, звуками флейты, и это, именно это и была, с вашего позволения, его восстановительная работа — распространение по земле и населяющему ее людскому муравейнику легкой флейтой Свободы и Любви, а где-то неподалеку, затаив дыхание, ютился Аффредерик Я-с, с самого же начала привязавшийся чересчур к сироте, и радовался, что жанр его вроде бы оправдал себя — свободен был мальчик... Правда, Аффредерик порой даже и забывал об избранной и предопределенной ему отрасли, об этой самой фантастике, и тогда он не зря вспоминал своевольную женщину по имени Кармен — через нее он выражал свою приверженность Свободе, воспевал Свободу, этот дикорастущий кустарник души. Уж очень он любил Свободу. Ведь, как вам хорошо известно, ничего не происходит случайно в этом подлунном мире, так почему же было Аффредерику случайно стать фантастом, и вот, чтоб утвердиться в жанре, он предлагает вам перед близящимся расставанием, он предлагает вам — вы просто не поверите — перечень использованной литературы. А именно:

1. Проспер Мериме, «Кармен», перевод Ар. Цагарели.
2. Федерико Гарсия Лорка, «Испанские колыбельные песни», перевод В. Биbihина и В. Чернышовой.

И, наконец, послушаем его самого — уж сколько времени он, бедненький, не докучал нам своей невидимой персоной. Ему, несчастному, встречалось в жиз-

161035340
1952.11.10.33

ни множество всяких презабавных занятий, и он избрал самое из них превосходное, прозу, и если он где-то и погрешил стишками, то простите ему великодушно, кто из нас не паялил безотчетно глаза на хорошенькую женщину? Его уже не удивляет и то, куда подевались, бесследно затерявшись где-то, все эти всемогущевластные курфюрсты, а вот Бетховен, как будто бы зависевший от них, остался, и вот, вспомнив об этом мелком, Аффредерик Я-с горит нетерпеливым желанием перечислить их, величайших владык воздуха, которые так явственно сотрясают его — властителя всего и вся—Воздух — назвать иногда тишком, а иногда во весь голос великих людей, великих властелинов, всего шесть человек: Бах, Гендель, Моцарт, Вивальди, Россини, Верди.

И еще раз, простите, пожалуйста:

Иоганн Себастьян Бах,
Вольфганг Амадей Моцарт,
Георг Фридрих Гендель,
Антонио Вивальди,
Джоакино Россини,
Джузеппе Верди.

Каро, дорогой! Аффредерик Я-с в меру своих немощных силенок потрудился для тебя и не то что без попрека, но с радостью пошел из-за тебя, избранника судьбы, на этот труд. Где только ни шатался он, следуя за тобой, по каким городам и весям ни сопровождал тебя, и — черт его дери! — удивительная все-таки штука жизнь — совершенно непонятно, какая такая сила связала его, кавказского Аффредерика этого трудного века, и тебя, такого очень-очень далекого Бесаме Каро? Откуда до его слуха дошли эти твои звуки? Наверно, и едва тлеющие их частицы и вправду никогда не теряются, а остаются — сильнее видимые по ночам — на веки веков. И хотя Аффредерик и по сю пору не знает, в земле какой деревушки, подле какой маленькой колоколенки покоится твой прах, однако все же следует сказать, что беспризорных могил не существует, ибо земля — достояние всех и этот воздух над нею всегда колеблется.

Тут Аффредерику Я-с — ничего другого ему не остается — приходится поневоле с вами распрощаться. А в пространстве ничего не теряется, и-ээх.





В ЕТЕР стал мягче,
и шум реки изме-
нился — река стала
спокойнее и шире, слов-
но плечи расправила, и
не подпевает глухо ска-
листым берегам.

«Видать, прошел исан-
ские кручи», — подумал
одинокий всадник, под-
тянул узду и прислушал-
ся. Совсем близко впе-
ди себя услышал он бес-
кровное поскрипывание
немазанных колес и вско-
ре нагнал арбу.

— Сынок, мы уже в
Крцанисском поле?

— Ну да, не видишь,
что ли? — Равнодушный
ответ, точно свист прута,
повис в воздухе.

— Не вижу, сынок, не
вижу! — вздохнул всад-
ник и слегка отпустил
поводья. Конь не спеша
последовал за арбой.

Крестьянин повернулся
и оглядел всадника. Это
был высокий, статный
мужчина в старой чохе
с пустыми газырями, в
надвинутой на лоб па-
стушьей шапке. Седая
борода свидетельствова-
ла о его преклонных го-
дах.

Со стороны Тбилиси
донесся звон колоколов.

Старик снял шапку, пе-
рекрестился.

— Сионский колокол

Леван ГОТУА

ПЕЧАЛЬ КРЦАНИСИ

◆

Героям, павшим сто
пятьдесят лет назад в
Крцанисской битве, по-
свящает автор этот
рассказ.

◆

Перевод
Виктории ЗИНИНОЙ



звонит! Да снизойдет на нас его благодать... Должно быть, отслужили молебен.

Аробщик только сейчас заметил, что лоб старика до самого правого виска рассечен глубоким шрамом. Старик был слеп — оба глаза затянuty страшными бельмами.

— Куда же ты направляешься? — сочувственно спросил аробщик.

— На годовщину... — глухо ответил старик и еще глуже надвинул шапку.

— Как бы чего не случилось в пути...

— С чего бы, сынок! Слепой я, да конь у меня верный, и на добрых людей я надеюсь, не всех ведь истребил Ага-Магомет-хан?

— На добрых людей, говоришь? Добрые люди лежат вон там, — вытянул руку аробщик и, почему-то разозлившись, хлестнул прутом быков, натужно преодолевавших подъем, и снова повернулся к старику: — И приветствовать-то друг-друга мы разучились... Откуда ты?

— Эх, дружище, с прошлого года я позабыл это доброе слово¹, — с грустью проговорил старик. — Из рода Бучукури я, из ущелья Арагви. Ломтата звали меня, а теперь зовут — Слепой Ломтата.

Старик замолчал, прислушиваясь к скрипу арбы, нерешительной поступи быков, едва уловимому шуму Куры и жидкому посвисту задержавшегося где-то в осеннем поле перепела. Потом упрекнул аробщика:

— Креста на тебе нет, чего гонишь неподкованную скотину!

— Нашел тоже кого подковывать! Не видишь, негодная скотина... — и прервал себя, стало совестно от слова «не видишь». Он спустился с арбы и виновато продолжил: — Эх, да разве таких запрягают, не от хорошей жизни ведь...

Крестьянин свернул со щебневого склона и поехал вниз по проторенной арбами дороге. Вскоре слышался шум речки. Старик удивился.

— Неужто Крцанисская речка? Здесь ведь был каменный мост.

¹ Грузинское приветствие «гамарджоба» означает «победы тебе!».

— Был, да нету! И следов его не осталось. Да что о мосте горевать, вся наша жизнь пошла вкривь и вкось... Эх... здесь повсюду были битвы... — И вдруг с болью и досадой добавил: — Что мост!.. И сады и виноградники тоже были! Ну и что! Теперь вот на растопку идет порубленная лоза.

Слушал Ломтата, и казалось ему, что голос крестьянина доносится из бездонного треснутого квеври.

Конь оступился, но потом смело шагнул в речку и, фыркая, стал пить воду.

Не раз гнал по этим дорогам Ломтата своего вороного, сопровождая в походах царя Ираклия. В скольких боях довелось им побывать, сколько побед отпраздновать вместе!

Царь, бывало, останавливался здесь, у этой самой речки, оборачивался и долго смотрел на оставшийся вдалеке Тбилиси и видневшиеся бойницы Метехи и Табори и, осеня себя крестом, шептал:

«Всевышний, помоги нам вернуться с миром, и да встретит нас мир и дома...»

Конь, утолив жажду, вышел на берег и стал щипать траву.

Спешился Ломтата, обнажил голову, но слова молитвы, те самые, что шептал на этом месте Ираклий, не смог выдать из себя — в битву он не спешил, и дома его не ждали.

А издали все еще доносился звон сионского колокола, печальный, гулкий, тяжелый звон.

Ломтата снял с коня хурджин, подпругу, уздечку и привязал его длинной веревкой к кусту. Сам сел на берегу, зачерпнул воды, ополоснул лицо, вытерся шапкой, потом снял каламани, перекинул хурджин через плечо и задумался: куда ему идти, вниз по течению или же вверх?

— Эх, не все ли равно, здесь всюду крцанисская земля! — сказал он и пошел вдоль берега. Шел не спеша, склонив седую голову, спотыкаясь и наступая на колючки и крапиву.

Отсюда начинаются знаменитые крцанисские сады, за ними — возвышенности Сеидабада, а там, наверху — Табори. Ломтата словно видит все это. Да как не видеть — где-то здесь, в лощине, на берегу этой неприметной речки, в прошлом году, в этот же день...

во время нашествия Ага-Магомет-хана... Именно здесь был убит его первенец — Утрута... Отважный Утрута, Где-то здесь предали земле его неоплаканное тело. А там, на Табори, в войске Давида Батонишвили сражался его второй сын — Батата. Раненый, он продолжал разить врага, но когда почувствовал, что силы покидают его, бросился со скалы, увлекая за собой пушку. А третий, младший, красавец Хута, служивший у Ираклия гонцом, пропал бесследно после поражения в Крцанисской битве. И остался одиноким старый воин Ломтата, последний в древнем роду Бучукури. Правый глаз потерял он давно, в одном из боев, а левый — иссох в тоске да горе. Если бы не старость, если бы глаза не подвели, разве не был бы он среди тех, кто сражался в Крцанисской битве. Предпочел бы умереть, лежать рядом с сыновьями, а не оплакивать их. Да, судьба оказалась беспощадной к нему, умри он раньше, не испытал бы он мук отца, познавшего гибель своих сыновей, не терзали бы его мрачные думы о судьбе родной страны.

Ломтата споткнулся, чуть было не упал. Хурджин сполз с плеча. Старик опустил на колено, пошарил по земле в поисках места, где бы сесть, вырвал колючки под ногами и швырнул их в сторону, горестно проговорив:

— Быстро же поросло здесь все колючками да крапивой...

Потом сел на камень, пощупал босые, гудевшие от усталости ноги, покрытые пылью.

— Эх, где их могилы? — вздохнул он. — Хотя здесь могилы повсюду! Всюду Крцаниси...

Где-то далеко-далеко заржал конь.

Ломтата приник ухом к земле, прислушался и отчетливо услышал топот. Нет, не изменяет старику слух. Слово несутся в отдалении воины, мчатся в битву.

Так в горах гудит обычно внезапно обрушившийся ливень.

Долго прислушивался Ломтата, так и не понимая, то ли в самом деле мчатся всадники, то ли мерещит-

ся ему, что в годовщину Крцанисской битвы восстали павшие...

Гул смолк так же внезапно, как и возник. Ломтата встал, достал из хурджина свечу, трут, кремень и высек искру. Движения его были спокойные и уверенные. Он зажег свечу, прилепил ее к камню, вынул из хурджина пестрый сверток, развязал его. В нем лежали три небольших кинжала. Ломтата вытащил их из ножен, осенил крестом, положил на каждый по кусочку ладана. Запах ладана успокоил его. Он положил на платок кусок ржаного хлеба, достал из хурджина кувшинчик, небольшой рог и налил водки.

— Боже все милостивый! Упокой души моих сыновей и всех павших на этом поле. Всем найди приют, всевышний... — произнес он, потом понизил голос и, поглаживая обнаженные клинки, заговорил так, словно беседовал с живыми: — Дети мои: Утрут, Батата, Хута!.. — голос его задрожал. — Дети мои! Пусть дойдет до вас благословение старого слепого отца. И пусть к столу вашему подспеют братья по смерти, не забудьте и души сырых! — Старик замолк, пролил на крцанисскую землю несколько капель водки и осушил рог.

— Аминь! — вдруг услышал Ломтата. Он повернулся всем телом, обратился в слух — слышится ему наяву или же это всего лишь голос собственного удрученного горем сердца.

— Кто ты? — робко спросил он, почувствовав, что рядом и в самом деле кто-то стоит. Он налил в рог водки, протянул незнакомцу: — Выпей за упокой погибших в Крцанисской битве.

— Аминь! — снова произнес голос, и кто-то взял у Ломтата рог. Голос удивил слепого. Нет, это не аробщик. Голос напоминал печальный звон сионского колокола, он был таким же надтреснутым и тяжелым.

Ломтата понял, что перед ним — старик. Быть может, даже старше него самого. Он попытался встать, но почувствовал на плече руку.

— Сиди, арагвинец! — тихо сказал незнакомец и вернул Ломтата осушенный рог.

— Арагвинец? Неужто по водке узнал?

— Нет, по шраму на лбу!.. Эх, и второй глаз подвел тебя...

Ломтата совсем близко, у самого лица, почувствовал дыхание старика, а на лбу — худую, холеную груду с перстнями.

— Кто ты? — тихо спросил Ломтата.

— Кто я? — повторил незнакомец. — Путник, бреду по этому бrenному миру.

— Да хранит тебя святой Георгий, покровитель путников! Да пребудет с тобой его милость. Раздели со мной хлеб, коли не погнушаешься бедняцкой трапезой.

— Как знать, кто из нас беднее!

Ломтата уловил глубокую печаль в голосе незнакомца.

— Видать, и тебя тоска гложет... Садись... Да и я пришел сюда не с радости. Годовщина сегодня! Трех сыновей потерял я...

— Здесь? — глухо спросил путник.

— Да, здесь, в Крцаниси...

Ломтата вдруг усомнился, может и незнакомец незрячий, вроде него.

— Видишь эти три кинжала? Они принадлежали моим мальчикам в пору их отрочества... Только кинжалы и довелось мне оплакивать! — и снова у Ломтата задрожал голос. Он замолчал. Молчал и незнакомец. Огромная, тяжелая печаль простерлась над Крцанисским полем.

Неожиданно вновь послышался топот коней. Это не табун мчится — скачут всадники, уверенно, в определенном направлении. Нет, Ломтата не ошибается — всадники несутся в их сторону. Ломтата почувствовал, что гость привстал и — быть может, это ему только показалось — помахал в воздухе рукой.

Гул смолк, замер где-то совсем близко.

— Был здесь кто-нибудь? — неуверенно спросил Ломтата. — Для меня лишь темень вокруг.

— Нет, никого! — глухо ответил незнакомец и добавил: — Быть может, в этом твое счастье, Ломтата! Ничего хорошего ты не увидишь!..

«Ломтата? — удивился старик и с горечью подумал: — Ко всему я стал еще и забывчив. Даже и не помню, когда назвал ему свое имя». Он достал из хур-

джина хлеб, орехи, овощи и горшочек с кутьей. Извинулся:

— Барашка я заколол, да роздал все мясо в Сионском соборе, — он протянул руку в сторону города.

Ломтата хорошо знает эти места. Именно там, куда он указал рукой, находится Тбилиси, там, откуда дует ветер и доносит звон сионского колокола.

— Для гостя я все-таки приберег малость, — Ломтата протянул незнакомцу баранью лопатку. — Ешь, пожалуйста, я же пока не разговляюсь, не могу.

— Я тоже... Схожие у нас с тобой сердца, старик, кажется, и судьбы тоже.

Такой печалью веяло от его слов, что у Ломтата заныло сердце.

— Стоит ли говорить о моей судьбе, — махнул он рукой и подумал: «Интересно, кто же он?», — но не решился спросить прямо, задал окольный вопрос: — Чем занимаешься, брат?

— Чем занимаюсь? — удивился незнакомец. — Многим пришлось мне заниматься в жизни. Но прежде всего я воин, так считали и друзья мои и недруги.

— Так ты служил царю Ираклию? — обрадовался Ломтата. — Э-эх, я тоже был когда-то в его войске, видел радость, да будет с нами благословение святого Георгия! Пока мог, служил честно, когда же потерял зрение, отдал ему сыновей. Младшего, Хуту, самолично привел к нему.

— Хуту? — повторил гость.

— Что, знавал ты его? Может, видел в битве? Красавец был, смелый и ловкий. А в глазах и впрямь огонь горел!

— Нет, не видел, — нерешительно произнес незнакомец, потом приблизился к нему и тихо спросил: — Ты потерял здесь троих сыновей?

— Да...

— Я потерял больше... Гораздо больше... Как я еще живу? Как я могу жить после той битвы?

С тех пор, как он не видит, Ломтата острее переживает горе других, ослепнув, он не озлобился на белый свет, наоборот, пребывая в вечной черноте, замечает то, что могло укрыться от взора зрячего. Вот и сейчас он словно видит перед собой незнакомого, уд-

рученного горем старика, видит, как тот понурил голову и устался в землю.

— И ты был в той битве?

— Был...

— С самого начала?

— Да... До самых последних минут... — с дрожью в голосе произнес незнакомец.

Ломтата почувствовал, что старик отвечает неохотно, выдавливая из себя слова. Но слова эти были — лишь скорлупа ореха, а ядро... До ядра незнакомец, видно, не хотел добираться. Ломтата с сомнением придвинулся к нему, поднял свою огромную руку, руку бывалого воина.

— Так ты говоришь, с начала и до конца? Тогда где же твои раны, покажи мне раны! Раны, воин! — сурово повторил он.

Незнакомец молчал.

Не понравилось это Ломтата, какое-то недоверие к пришельцу шевельнулось в нем. «Кто он?» — подумал он, готовый вспыхнуть, но, подавив в себе гнев, спокойно спросил:

— А что привело тебя сюда через год? Что же?

— Раны... — был ответ.

Еще более возросло сомнение в душе Ломтата... И вдруг его осенило: «Вероятно, был недругом Ираклия, а теперь раскаивается». Ломтата повернулся, взял кувшин и снова наполнил рог.

— Выпьем за нашего Ираклия. Да умножит всевышний его друзей и избавит его от врагов.

Он осушил рог и протянул гостю. Тот не спешил брать рог.

«Конечно же, это враг царя», — решил Ломтата.

— С надеждой и упованием на царя нашего и живу я на этом свете! — с убежденностью произнес Ломтата и бросил рог гостю. Рог ударился о что-то металлическое.

«Он вооружен», — подумал Ломтата, протянул незнакомцу и кувшин и стал слушать, как тот наполняет рог. «Налил до краев, видать, честный человек», — подумал он.

— Да услышит тебя всевышний, умножит друзей,

избавит от недругов, — произнес незнакомец ^{глухо,} выпил и повернулся к слепому. — Слушай, а ^{ведь по} бежден твой всемогущий царь, повержен! Все ^{его пре} дали, и враги и друзья! Пало царство. Сожжен Тбилиси!.. Как мне смотреть на это! — Гость перевел дух и еще более хриплым голосом продолжил: — Вокруг одни развалины. От крепостной стены на Табори ничего не осталось. А во что превращен Метехи?.. А Нарикала?.. О Тбилиси же и не спрашивай!.. А сады?.. Знаменитые крцанисские сады! Все вырублено, там теперь братское кладбище.

— Где, где это кладбище? — заморгал слепыми глазами Ломтата. — Наверное там мой Утрута, наверное там!

— Там покоятся тысячи таких, как твой Утрута, старик, тысячи!

Ломтата уловил в словах незнакомца горький упрек.

— Ты прав... Тысячи таких, как мои сыновья... Всех не оплачешь... — И, успокоившись, попросил: — Ты, видать, умный человек... Заклинаю тебя крцанисской землей, скажи, как же это случилось, почему мы потерпели поражение?

Незнакомец молчал. Тогда Ломтата наклонился, захватил рукой горсть земли и протянул собеседнику:

— Мне недолго осталось жить. Да и ты, видать, не молод... Не спрашиваю, кто ты. Знаю, что грузин и болит у тебя сердце за нашу землю так же, как у меня. Вот здесь, сейчас, в годовщину той битвы, скажи мне ободряющее слово, открой мне глаза. Трех сыновей отдал я царю, ни один не вернулся домой... Хочу знать, как же это случилось, как мы потерпели поражение... Я буду спрашивать у всех, у всего мира, будь здесь даже сам царь Ираклий, и у него спросил бы. Он бы мне ответил, все бы рассказал, но, горе мне, и ему сейчас не сладко.

— Ты прав, ты прав! — тотчас согласился незнакомец. — Он бы тебе все рассказал, он был бы обязан рассказать тебе всю правду, ибо ты имеешь право судить его. Тебе, старому воину, он откровенно поведал бы историю верности и измены. Видит бог, он не щадил себя. Он и сейчас молит всевышнего о смерти, жизнь ему не в радость.

Ломтата слушал незнакомца, а с раскрытой его ладони медленно струилась земля. И так же медленно лились слова рассказчика.

— Так слушай меня, старик... Отсюда хорошо видны соганлугские узины, — Ломтата догадался, что рассказчик протянул руку к востоку и повернулся туда. — Десятого сентября там стоял со своим войском Давид Батонишвили. Рвы тянулись по берегу Куры, со стороны склонов Шавнабада. В полдень подошел Ага-Магомет-хан со своим войском. Встретил его достойно Давид, заставил повернуть вспять.

Ломтата с волнением слушал его, и в памяти его всплывали темные, поросшие кустарником склоны Шавнабада, вплотную спускающиеся к берегу Куры, а на востоке упирающиеся в небосклон. Там, в узинах, и сейчас, вероятно, видны развороченные рвы, которые слепыми глазницами взирают на бурные, подернутые серебром воды Куры.

Видит, все видит Ломтата. Это глаза у него подернуты пеленой, но память видит зорче прежнего. И слушает Ломтата невеселый рассказ незнакомца.

— Но коварный ходжа повел главное войско через Иалгуджи и Кумиси на Хатиствала, в тыл передовых отрядов грузин.

— И что же? — удивился Ломтата. — Неужто Ираклий не предвидел это?

— Конечно, предвидел... Но помощь не подоспела... И сыновья не пришли на подмогу. Другого пути не было — с передовыми отрядами он начал готовиться к сражению в Крцаниси.

— Здесь... Эх, горе мне...

— Да. Здесь. Вон там, выше, стоял Давид со своим войском. А вдоль реки — Отар Амилахвари, затем старый Мухран-батони, Зураб Церетели со своими имеретинами и наконец Захарий Андроникашвили, — рассказчик наклонился, поднял с земли камешек и бросил его в воду. — Речка эта и тогда текла так же спокойно, но когда разгорелся бой, она поднялась и вода в ней помутнела.

— Горе мне, горе... — Ломтата тоже повернулся

к реке и словно воочию увидел, как она поднялась, разлилась, потемневшая от крови...

И словно уже не незнакомец, а река, потемневшая от крови река, продолжала печальный рассказ.

— Ночью лег туман. И на рассвете не было видно Шавнабада... Когда же туман рассеялся, ее все равно не было видно — полчища врагов нескончаемым потоком неслись по ее склонам. Им не было конца и края. А наши молчали. Враг дошел вон до того холма. А на Крцанисском поле по-прежнему стояла мертвая тишина.

И сейчас, когда лился этот печальный рассказ, удивительная тишина царила в Крцаниси. Так тихо, так затаенно тихо бывает обычно перед началом сечи.

— И грянули пушки на Кошакала, следом — пушки на Метехи. Впереди был враг, сильный, коварный, а за нами — Тбилиси. И вновь отличился Давид со своими воинами, погнав вражью рать. Укрылся враг за Шавнабада, а мы вернулись на свои позиции. И снова с двух сторон заговорили орудия. С Метехи стреляли по берегу Куры, а с Кошакала — по подступам к Шавнабада... Но вот со склона Шавнабада вновь поползли вражьи орды, а нам неоткуда и не от кого было ждать помощи.

— Почему?! Почему, не понимаю? — прервал рассказчика Ломтата, но тот не слышал его, заново переживая прошлогоднюю битву.

— Вон в том месте... Там, на Квернакском плато... Я те места хорошо знаю... Именно там был разбит ханский шатер. Вскоре появился и сам Ага-Магометхан. И снова пестрая лавина покатила по склону, обрушилась на грузинские рвы. Дрались врукопашную, не щадя живота. Нашим помогали небольшие резервные силы. И в третий раз победа была за нами. Но враг яростно ринулся на нас, стал теснить со всех сторон, бросая в бой все новые и новые отряды...

— А что же наши? — взволнованно проговорил Ломтата.

— Да разве можно было сравнить наши силы с главными силами персов, вступивших в бой. Казалось,

на нас двинулись вдруг запестревшие склоны Шавнабада!

Ломтата с ужасающей очевидностью представил, как с Шавнабада ринулись на грузин кустарники, на каждом кусте пестрела чалма. Что это он слышит так отчетливо — гул битвы или же глухой голос рассказчика?

— Содрогалась земля, дымом и гарью покрылось небо над Крцаниси...

— А где же был он? Где был царь? — не вытерпел Ломтата.

— Зная, что помощи ждать не от кого, он берег людей, действовал небольшими отрядами в самых разных концах, чтоб сбить врага с толку. И наконец сам ринулся в бой, с ним был и царь Соломон с отборными войсками.

— Дай бог ему здоровья! — прошептал Ломтата. Остальное он мог сам представить, он не раз плечом к плечу сражался с Ираклием! Царь со своим отрядом вклинивался в войско противника, разрывая его на две неравные части, потом, не давая врагу опомниться, поворачивал обратно и... ударял в спину... Словно рыбы, выброшенные на каменистый берег, бились на земле поверженные. Ломтата знал, как трудно устоять против натиска Ираклия, неужто этот щедушный безбородый устоял?

— И снова погнали мы персов на Шавнабада, преследовали по пятам, захватили знамена Ага-Магомет-хана, разнесли его шатер, но он успел удрать на своем коне.

— И ты был с ними? — неожиданно спросил Ломтата.

Рассказчик, казалось, не услышал вопроса, ответил не сразу.

— Да, я тоже был с ними! — наконец тихо произнес он и горько улыбнулся.

Ломтата разволновался еще больше.

— Дальше? Что было дальше? — схватился он за кинжал.

— Погнали их к Соганлугу. Но дальше преследовать не могли, тяжелая ждала нас ночь.

Знает, хорошо знает Ломтата, что значит ^{тяже-}лая ночь. Это значит бессонная ночь перед ^{решаю-}щим боем, когда надо помочь раненым и ^{предать} земле мертвых.

— Безжалостно бежала ночь, приближая рассвет. Враг засел в Соганлуге.

Рассказчик умолк. Молчал и Ломтата, не решаясь нарушить тяжкую тишину. Незнакомец сам продолжил рассказ.

— Я знаю, враг собирался уйти, уже не надеясь на победу, страшась нашего отборного войска. Но именно в это время измена решила судьбу битвы, кажетя, и судьбу всей Грузии... — глухо добавил незнакомец.

— Измена? — затаил дыхание Ломтата.

— Тогда удалось бежать из Нарикала послу Ага-Магомет-хана, и он, разумеется, все поведал ходже.

Понял старый Ломтата, что значит это слово «все»: о внутренних врагах и зависниках царя, о непокорных царских сыновьях, о больших потерях грузинской армии, о полном отсутствии резервных сил, о беспокойствах и смутах в Тбилиси, о болезни старого царя и о бесконечных других кознях, которые подсекали грузин под корень.

— Кто? Кто совершил это предательство? — скрипнув зубами, спросил слепой.

— Враги страны, — ответил рассказчик.

— А что же Ираклий?

— Что он мог сделать? Враждуют со мной, но при чем тут страна, — сокрушался царь.

— Выходит, враг воспрял духом и повернул обратно?

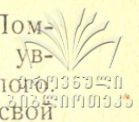
— Была опасность нашествия с юга, и царь послал туда Иоанна.

— Иоанна Батонишвили?

— Да... А Давид с орудиями занял перекресток Табахмела—Сололаки.

— Там был и мой Батата, — тихо молвил Ломтата и тотчас умолк, смутившись, как бы незнакомец не подумал, что он занят только своею бедою. — Где же был царь? — спросил он сердито.

— Всюду... Скорее, в самой сердцевине, на возвышенностях Сеидабада.



— И ты был там? — вновь невольно спросил Ломтата, но собеседник то ли плохо слышал, то ли, увлекшись воспоминаниями, вовсе не слушал слепо. Словно перед невидимым судьей продолжал он свой рассказ:

— Слева стоял Мухран-батони, справа — отважный Зураб Церетели. Мы держались из последних сил, сказывались большие потери и усталость. Все это тяжким, невыносимым грузом давило на плечи. С утра в четырнадцать рядов двинулся на нас враг, а эти ряды прикрывали пять-шесть тысяч ханских стражников-туркменов. Нас-то было — всего горсточка, и мы были обречены. Отвага грузин, их самоотверженность ничего не решали. Нужна была только равная сила. Иоани мужественно встретил врага, заставил даже несколько рядов повернуть вспять, но волной накатывались новые ряды и подминали под себя малочисленных защитников нашей земли. В бой вступил Вахтанг Батонишвили, а вслед за ним и мы — в самую гущу боя.

— И сам царь? — Ломтата волновала судьба царя.

— Больше ста боев пришлось мне пережить, но этот был самый жаркий, самый трудный, — вздохнул незнакомец.

— Больше ста? — удивился старый воин.

— Персы неистовствовали. Их гнали вспять, они вновь возвращались и рубили нас безжалостно. Вскоре и ханские стражники вступили в сечу. В какой-то миг мы оказались в кольце и вдруг услышали...

Рассказчик умолк, у него перехватило дыхание, потом он сухо закашлялся.

— Что, что вы услышали? — разволновался Ломтата.

Незнакомец продолжил рассказ, но голосом удрученным, сникшим, словно внутри у него что-то оборвалось.

— Это была наша последняя победа. Издали слышались звуки чианури, ему вторили зурна и пандури. Я не слышал прежде ничего подобного. На Крцанисском поле горела битва не на жизнь, а на

Леван Готуа. Печаль Крцаниси.

смерть, по дороге же из Тбилиси с музыкой шла огромная толпа горожан с цеховыми знаменами. Все замерло — оторопело замер даже враг. Как сейчас слышу — играли «Шадиани»¹. Узнал я мелодию Мачабели — она вселила в меня надежду, воодушевила воинов. Воспряли духом грузины и снова ринулись на врага. Я видел сам — поднимались даже тяжелораненые. Музыка эта воскрешала мертвых! И вновь вспыхнула сеча. Воздух сотрясали грохот пушек и ружей, звон кольчуг и шлемов, крики и стоны людей. А над всем этим, перекрывая гул битвы, неслись звуки шадиани. В бой ринулись и горожане. Крцанисское поле стало свидетелем неистовой битвы. Нам удалось потеснить врага, мы ворвались на склоны Шавнабада... Увы, это была наша последняя победа.

— Последняя? — слепой украдкой вытер выступившие на глазах слезы. Он уже давно стоял на ногах и, охваченный тревогой и волнением, ждал конца рассказа.

— Нас обошли с тыла. Нашлись такие, кто указывал им дорогу — близ Табахмела большой отряд персов атаковал Давида... Другая часть насадала на Кошакалу, третьи, выйдя ущельем Легвтахевн на Дабегбское, отрезали нас от Тбилиси... Изменился ход битвы... — рассказчик закашлялся — старческим, коротким и частым кашлем.

— Сначала битва шла по всему полю, но постепенно бои стали вспыхивать отдельными очагами... Помню, как в пору моего детства молотили хлеб в Алазанской долине, в страхе перед лезгинами молотили небольшими токами, поблизости друг от друга... Сколько же воды с тех пор утекло, скольких жизнь перемолотила?

Незнакомец умолк.

— Где же, где же был он, наш старый царь?

— Царское войско попало в окружение.

— О-о, горе! И что же?.. — не получив ответа, Ломтата коснулся рассказчика рукой, ощутил мягкость дорогой шелковой ткани, удивился было, однако все мысли его в эту минуту были заняты только боем, и он нетерпеливо спросил: — Говорят, Вахтанг и

¹ «Шадиани» — веселая застольная песня.

Иоани Батонишвили смогли соединиться с царским войском, так ли это?

— Так... — глухо повторил незнакомец.

— Говорят также, что отличились арагвинцы, все полегли, но вывели из боя невредимым своего царя.

— И это верно, — снова глухо произнес незнакомец. — Да лучше было ему остаться на поле битвы, вот здесь, в этой земле...

— Не следует говорить такое! — старый воин положил руку собеседнику на плечо и понял, что перед ним — человек невысокого роста. — Я трех сыновей потерял здесь... И имею право сказать тебе это. Он должен был уйти, а как же! Я никому не позволю говорить худо об Ираклии! Никому, кто бы он ни был! — повторил он еще резче, вспомнив про дорогую одежду собеседника. — Ты лучше рассказывай, как все было.

— Чего рассказывать. Конец всему: у врат Тбилиси мы еще раз попытали свое счастье, ринулись на врага, но большинство полегло, и твой Хута среди них, в числе тех, кто спасал царя...

— Сынок, Хута... — простонал старик.

— И снова я уцелел, какой-то рок преследовал меня. Я искал смерти и не находил ее... Искал и не находил! Не было для меня смерти, не было!

На Крцанисском поле стояла тишина. И в этой тишине вновь послышался далекий звон сионского колокола.

Ломтата замер. Знакомый голос и знакомая молитва коснулись его слуха, и встрепенулось его старое сердце.

— Всевышний, помоги нам вернуться с миром и да встретит нас мир и дома, — медленно, с затаенной надеждой произнес незнакомец.

— Аминь! — воздел руки слепой, потом опустил их и хотел было дотронуться до плеча незнакомца, но его не оказалось рядом. «Ушел», — подумал Ломтата, но тут же услышал поодаль тяжелое, старческое дыхание — его собеседник молился коленапреклоненный. Ломтата тоже склонился и коснулся груди незнакомца, нащупал длинную густую бороду... и тотчас

пал на колено, схватил его руку — на среднем пальце должен быть перстень, он это помнит — массивный царский перстень с изображением двух вздыбленных львов.

Вот он! Ломтата склонился еще ниже, поцеловал царскую саблю, потом коснулся губами крцанисской земли и чуть слышно произнес:

— Выходит, моим сыновьям повезло больше твоего...

— Потому сказал я, что ты счастливый человек, — чуть слышно прозвучал голос старца.

Ломтата молчал, ошеломленный. Да, он, отец, оплакивает здесь своих сыновей, но этот старец, царь Грузии, оплакивает всех polegших здесь грузин, и страдание его гораздо сильнее и глубже. Понял это Ломтата, повернулся, неловко коснулся кувшина и опрокинул его. Кувшин покатился, ударился о камень и разбился.

— Да будет им пухом земля... — задумчиво проговорил Ломтата.

Вдруг раздалось ржание коней. Великого печальника ждала его свита. Но Ломтата и его собеседник внимали сейчас не этому ржанию. Им слышался боевой клич тех всадников, которые в последний раз промчались по Крцанисскому полю, в последний раз оголили сабли, в последний раз стреляли из ружей и... пали. И не восстанут боле, как не восстанет тень срубленного дерева.

Год спустя, в скорбный час, на крцанисской земле стояли, коленапреклоненные, два старца. Один — высокий, но слепой, другой — невысокого роста, но дальнзоркий. И быть может, только его острый слух уловил, что со стороны Тбилиси, кроме звона сионского колокола, ветер доносит далекую барабанную дробь...

1944 г.

КЕМ была Тинатин из старой и не очень широко известной поэмы Булата Окуджава? Может, реальной женщиной, юной, чистой, красивой, стойко принимающей на свои плечи пересуды и сплетни:

Тебя единственную
будни потчуют
злорадной анонимной
почтою
и тихими шагами
тихих жен,
не называющих
своих имен...

А может — это обобщенный, символический образ вообще женщины, носительницы и хранительницы Любви, той женщины, к которой всю жизнь стремятся мужчины:

Какая-то вечная женщина
удивленно шагает к любви,
и горят
так светло и торжественно
за спиною
ее
корабли...

Или привлекла поэта мелочность самого имени, в котором как бы перезваниваются бубенчики:

О чем ты, Тинатин,
ты вся в смятенье...

Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТИНАТИН

Или — да не сочтется это излишней дерзостью и самоуправством критика, — все же есць в ней и та, солнцеликая, руставелевская, вставшая из навсегда, с детства, запавшего в сердце:

Свет пресветлый, не сравнимый

ни с кристаллом. ни с алмазом!

Не напрасно пред тобою мудрецы теряют разум!

Посреди светил небесных ты — луна и солнце разом!

Увидав тебя, на розы не взгляну я больше глазом!

(перевод Н. Заболоцкого).

Скорее всего — и то, и другое, и третье, ведь перед нами — поэзия. Эта давняя поэма припомнилась сейчас вот в связи с чем. Ее автору, известному советскому поэту и прозаику Булату Окуджава, исполняется шестьдесят лет.

Ровно двадцать лет назад в тбилисском издательстве, которое тогда именовалось «Литература да хеловнеба», вышел в свет сборник стихотворений на грузинскую тему и переводов из грузинских поэтов Булата Окуджава «По дороге к Тинатин».

Этот сборник лично мне представляется важным этапом на творческом пути Булата Окуджава, хотя он к тому времени уже был автором четырех поэтических сборников, сразу ставших весьма популярными у читателей — ведь им предшествовала такая популярность поэта у слушателей! И хоть, естественно, последующие десятилетия добавили к ним еще десятки изданий стихов и прозы, вышедших как в нашей стране, так и за рубежом, для меня то давнее непритязательное тбилисское издание по-прежнему остается на особом месте из всего, написанного Булатом Окуджава.

Почему? В силу каких особенностей и достоинств?

Ответу на эти вопросы и посвящены настоящие заметки, отнюдь не претендующие ни на приличествующее юбилею «подведение итогов», ни на обязательную для рецензии объективную раскладку сильных и слабых сторон разбираемого автора, которые, разумеется, есть у него, как у любого писателя и вообще любого живого человека, ни на бесспорность наблюдений и выводов. Это просто субъективные заметки, так и договоримся.

В стихотворении с примечательным названием «Путешествие в памяти» Булат Окуджава писал:

Не помню зла, обид не помню,
ни громких слов, ни малых дел
и ни того, что я увидел,
и ни того, что проглядел.
Я все забыл, как днище вышиб
из бочки века своего.
Я выжил.
Я из пекла вышел.
Там не оставил ничего.

В данном случае «там» — это дороги и годы! Великой Отечественной. Но годы проходят, все острее ощущается потребность оглянуться на пройденное и сделанное, путешествие в памяти продолжается, пока человек жив. И в то же время с годами острее и пронзительней осознается человеком и то, что невозможно прожить жизнь, ничего «там» не оставив.

Вскоре после появления в свет сборника «По дороге к Тинатин» мне довелось напечатать статью о нем в журнале «Литературная Грузия». Вспоминаю здесь об этом не столь уж важным в общелитературном масштабе факте вовсе не из желания познакомить читателя с этим личным «событием». Просто, как было сказано, годы заставляют оглядываться вспять, а это занятие чем-то напоминает перелистывание семейного альбома со старыми фотографиями: трогательно и смешно, забавно и мило... И вдруг в старом выцветшем пожелтевшем детском снимке что-то узнается, вспоминается, — «а ведь похоже, ведь можно узнать и сегодня!» Так вот, ясно видя слабости и несовершенства той старой своей работы, я обнаружил в ней что-то, и сегодня показавшееся не совсем уж пустым и безынтересным.

Михаил Аркадьевич Светлов как-то записал в своем дневнике: «Есть три степени признания — признание публики, признание критики и, наконец, признание коллег». О популярности Булата Окуджава среди «публики» в те годы вряд ли есть смысл напоминать, его песни были у всех на устах и переписывались с одного магнитофона на другой, строками из его стихов провожали ребят на дальние стройки и объяснялись в любви...

Эдуард Елигулашвили. Возвращение к Тинатин.

Таким же единодушным и однозначным было отношение к его творчеству со стороны литературной критики, только как бы с противоположным знаком — деловая и объективная оценка на один из ранних сборников Булата Окуджавы, написанная молодым тогда Львом Аннинским, выглядела чуть ли не нарушением профессиональной солидарности. Что же касается коллег, то... Кто-то его любил и ценил, кто-то — нет, все как полагается.

Разбежавшееся по бумаге перо уже готово с разгона написать фразу о том, как все радикально изменилось за прошедшие годы, принесшие Булату Окуджаву все «три степени признания», однако что-то подсознательно удерживает его, заставляет подробнее присмотреться к реальному положению вещей. Да, он прочно занял в современной советской литературе свое место, на которое уже, кажется, никто и не посягает. Да, замалчивать его творчество сегодня уже никому не придет в голову. Популярность его среди читателей по-прежнему велика и устойчива, причем шагнула она далеко от признания за ним только авторства «модных песенок». Уже никому не под силу отрицать его достоинства как поэта и прозаика. Да и налет некоторой сенсационной шумихи вокруг его имени давно уже сменился прочным признанием. Правда, коллеги, кажется, сохраняют в отношении к нему свои прежние симпатии и антипатии, диапазон оценок его творчества необычайно широк. А вот критика...

В статье двадцатилетней давности приходилось защищать Булата Окуджаву от упорных попыток свести его творчество к какому-то чуть ли не полупрофессиональному стихослагательству.

«Имя его довольно часто мелькало на страницах «Литературной газеты» в связи с дискуссией ... о самодеятельной песне!» — возмущенно восклицал автор той статьи. Я привел эти слова не из тщеславного соблазна самоцитирования, а чтобы констатировать довольно курьезный факт: через двадцать лет в той же газете появляется серьезная и объективная статья критика Аллы Латыниной с оценкой последнего романа Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом», и среди оценок этого произведения читатель встречает такую категорию как «непрофессионализм»! Критику затем пришлось специально возвращаться к этой оценочной ка-

тегории, объяснять, в каком именно смысле она была употреблена, вступать в полемику с читателями, одни из которых увиливали в ней несправедливое обвинение, способное обидеть писателя, а другие, наоборот, углядели «некое осуждение и принижение понятия «профессионализм». И это, повторяю, в статье, написанной с явной симпатией к роману и его автору.

Да, профессионализм может иметь и обратную сторону в виде некоего ремесленного взгляда на предмет искусства, способного лишить художника радости первоначального отношения к тому, о чем он пишет, что увидел свежим и чистым взглядом первооткрывателя, пролагателя тропы на нехоженой целине. Разумеется, в этом нет никакого пренебрежения мастерством, владением всем арсеналом средств своего искусства, — только предостережение против губительного привыкания к своему ремеслу.

Вряд ли кто-нибудь способен усомниться в высочайшем профессионализме замечательной актрисы Фаины Раневской, которая с некоторым, я бы сказал, даже вызовом подчеркивала в телевизионном интервью с критиком Натальей Крымовой, что считает себя дилетанткой и отнюдь не стыдится этого. И именно об этом говорил — уже в газетном интервью — волшебник, сказочник и кукольник Сергей Образцов, происходящий из семьи потомственных железнодорожников — ученых и инженеров: «Мой отец, ученый, академик, говорил мне, что новое в науке и в искусстве чаще всего открывают любители. Паровозник вряд ли изобретет электровоз. Он все время будет улучшать отдельные части парового двигателя, а любитель догадается воткнуть электромотор. Станиславский — любитель, и Кулибин, и Циолковский, и Форд. В общем, профессионал, выросший из любительства, чаще всего новатор».

Можно представить себе, зная характер героя настоящей статьи, как он поежится от упоминания своего имени в таком ряду. Но ведь речь идет не с сравнениях, а о тенденции. Да к тому же — юбилей, когда, словно в грузинском застолье, многое прощается. Да к тому же ведь именно он, Булат Окуджава, написал «Путешествие дилетантов», и это что-то да значит!

Статья Аллы Латыниной не единственная из серьезных и объективных статей, появившихся в последние годы и посвященных творчеству Булата Окуджава (справедливости ради отметим, что большинство из них посвящено прозе писателя). Но даже в юбилейные дни нельзя умолчать, что наряду с ними все

еще продолжают время от времени появляться совершенно иные отклики на его творчество, резкие, отказывающие его произведениям в каких бы то ни было достоинствах вообще. Подобные пережитки «уличающе-разоблачительной критики», что оставила в памяти недобрый след, всякий раз воспринимаются как диссонанс в той литературной атмосфере, которая царит ныне.

Что же ставится писателю в вину? Слабое знание языка, истории, даже путаница в реалиях, наподобие того, какой вид огнестрельного оружия когда именно был взят на вооружение... Одним словом, все тот же пресловутый дилетантизм, недопустимый вообще, и для автора исторической прозы — в особенности. Вспомним, что и годы назад ему предъявляли сходные претензии, правда, тогда чаще речь шла о знании законов гармонии и аранжировки.

Сам писатель, на удивление скупой к всякого рода теоретизированию вообще и к высказываниям о «секретах» своего творчества, в частности, обмолвился, что всю жизнь занимался тем, что ему доставляло удовольствие, и удивлялся, когда за это еще и деньги платили. Нашлись люди, которые поставили ему же в вину это «неосторожное» заявление, умудрившись не услышать в нем ни иронии, ни отголосков известного французского выражения.

А писатель и его герои смело и безоглядно продолжали «путешествие дилетантов».

Отвлечемся от хитростлетений сюжета романа с одноименным названием, забудем о запутанных путях, приведших его героев в поисках спасения и покоя под сень Кавказских гор, но вспомним о восторге — «господибожемой!» — который вызвали у них и эти горы, и зеленые долины, и запутанные узлы крутых тбилисских улочек — все, что впервые и так щедро открылось их взглядам.

...Сейчас и не вспомню, сколько лет прошло с тех пор, может двадцать, а может и все тридцать. Во всяком случае, это было в те времена, когда под тенью Метехской горы веселился и шумел известный каждому тбилисцу духанчик: тесная комната, заставленная столиками, буфетная стойка, на которой от сотворения мира были выставлены тарелки с пожухлой зеленью и затвердевшим лобио, за стойкой — буфетчик, один вид которого немедленно подтверждал, что вся эта бутафория не имеет никакого отношения к его истинному гостеприимству и радушию, равно принадлежащим всем посетителям, знакомым и незнакомым.

Булат, по-моему, тогда приехал в наш город после долгого перерыва, а Ольга, его жена, наверняка впервые открывала для себя все неисчерпаемые тбилисские чудеса. И вот одно из них свершалось прямо на глазах почтеннейшей публики. Грузинские поэты Джансуг Чарквиани и Тамаз Чиладзе, сдвинув в чадной полутьме духана головы, словно заговорщики, затаили вполголоса песню. И все сразу замолчали, внимая этой молитве, возносимой во славу родного города и родной земли, и Кура, гудевшая под сводами моста, подавала свой бас — третий голос, необходимый для грузинской песни. Молчал Булат, песни которого пела тогда вся страна, молчала Ольга, и только не ведавший об этом старый рыбак (тогда еще на Куре водились не только рыбаки, но и рыба) распахнул дверь с улицы, безошибочно выбрал из всех столиков один-единственный и царским одаривающим жестом выплеснул на него живое серебро своего улова...

Об этом будет впоследствии написано стихотворение и в посвящении к нему будут стоять два имени — Тамаза Чиладзе и Джансуга Чарквиани.

Когда под хохот Куры и сплетни,
в холодной выпачканный золе,
вдруг закричал мангал последний,
что он — последний на всей земле,
мы все над Курой тогда сидели
и мясо сдабривали вином,
и два поэта в обнимку пели
о трудном счастье, о жестяном.
А тот мангал, словно пес — на запах
орехов, зелени, бастурмы,
качаясь, шел на зеленых лапах
к столу, за которым сидели мы...

И как вторую часть поэтического диптиха, хоть это не засвидетельствовано ни посвящением, ни датой, хочется привести строки из другого стихотворения:

Храмули — серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее, как у кильки,
а нос — пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены,
и к сердцу ее

Эдуард Елигулашвили. Возвращение к Тинатин.



Представьте,

она понимает призвание свое:

веселые, шумные пиршества не для нее.

Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,

ей чуткие пальцы и теплые губы нужны.

Ее не едят, а смакуют в весенней тиши,

как будто беседуют с ней о спасенье души.

Имея в виду именно эту особенность поэзии Булата Окуджавы, которая могла кому-то показаться восходящей чуть ли не к приметливости и дотошной выписанности натюрморта мастеров старой фламандской живописи, я сравнивал письмо поэта с исконно грузинским, национальным взглядом на мир и на вещи, каждая из которых вызывает уважительное внимание и пристальное отношение к себе. Больше того, в той старой статье высказывалась мысль о том, что в стихах Б. Окуджавы сливались два равнозначных и одинаково ярко выраженных потока — музыкальный, гармонический, мелодический, восходящий к традиции русской поэзии и русской песни, и берущее свое начало в Грузии живописное, красочное, изобразительное начало. Надо ли оговаривать, что и тогда, и особенно сейчас автору этой «гипотезы» была ясна ее условность, приблизительность, но если говорить о целом, о тенденции, то, кажется, основания для нее были — ведь наряду со стихотворным циклом «Музыка арбатского двора» (ударение на первом слове) и многими подобными названиями, есть в книжках Б. Окуджавы такие «грузинские» названия, как «Синька», «Вывески» и ряд других. Типичным для этого потока можно считать такие хотя бы «экзотические» в ином контексте поэзии Окуджавы метафоры, как те, на которых построена живопись стихотворения «Октябрь в Карданахи»:

**Вдруг возник осенний вечер. И на землю он упал.
Красный ястреб в листьях красных словно в краске утопал.
Были листья странно скроены, похожие на лица —
Сумасшедшие закройщики кроили эти листья...**

Проезжая по Военно-Грузинской дороге, где-то неподалеку от Пасанаури, путники непременно остановят бег своих машин, чтобы посмотреть, как сливаются два потока — Черная и Белая Арагви, как текут какое-то время две реки в одном русле, а потом и не различишь — где чей исток в одной Арагви...

Предвижу, что кто-нибудь из особо дотошных знатоков поэта

может меня уличить: а как быть со стихотворением, которое относится к грузинскому циклу, посвящено замечательному грузинскому поэту Симону Чиковани, а называется... «Музыка»! Но сценень непохожая на другие мелодии Окуджавы музыка, отвечающая, — музыка графики, цвета, музыка жеста и движения:

...И музыка передо мной танцует гибко,
и оживает все

до самых мелочей:

пылинка виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!
Ночной комар,
как офицер гусарский, тонко,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,
и каждый жест велик,

как расстоянье,

и веточка умершая еще жива...

И стыдно мне

за мелкие мои старанья

и за непоправимые слова.

...Вот сила музыки!

Годы спустя я бы, пожалуй, добавил к этим двум составным началам поэзии Булата Окуджавы еще два столь же разнонаправленных истока. С одной стороны, это та самая первозданность, свежесть, чистота взгляда на мир и на людей, на природу и на чувства, о которой упоминалось выше («младенческое удивление» первого взгляда на окружение). С другой — умудренность, обретенная ценой жизненного опыта, обращенная вспять, то самое «путешествие в памяти», которое можно назвать столь же характерным для поэта, как и «путешествие дилетантов» — и то, и другое не стыдится показаться сентиментальным, поскольку они вообще не стремятся казаться — они есть в сердце каждого человека, как элементарные частички его человечности, особенно сильно — в сердце поэта. В данном случае это можно определить как ностальгию по оставленным местам — будь то Арбат или Грузия, и ностальгию по ушедшим временам, будь то юность и все, что невозможно вернуть.

«Прощай, прощай...»

Да я и так прощаю
все, что простить возможно,
обещаю

простить и то, чего нельзя простить.
Великодушным я обязан быть.

Прощаю всех, что не были убиты
тогда, перед лицом грехов своих.

«Прощай, прощай...»

Прощаю все обиды,
обеды у обидчиков моих...

«Прощай, прощай...»

Старания упрямы

{знать, мне лишь не простится одному},
но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому.



Это высшее, выношенное и выстраданное великодушие, и может быть, чтобы обрести его, поэт прошел и такую страшную школу, как война:

Все ухищрения
и все уловки
не дали ничего взамен любви...
Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетапи
только
соловьи.

Памятные строки, очень точно выражающие суть жизненной позиции их автора, — его и хвалили за них, и ругали, но хочу отметить: они из стихотворения «Тбилиси моего детства», они — из дороги к Тинатин. Здесь он прошел начальные классы школы своей любви и верности, но как сложно, оказывается, в этой школе дойти до «аттестата зрелости».

Понимаю, что, если уж взялся судить о писателе, пиши о том, что и как у него сделано, а не о том, чего нет. Сам всегда счител наивными сожаления о том, что вот такой-то писатель не написал о том-то, не отразил того-то. И все-таки не могу удержаться, чтобы не сказать: для меня необъяснимо, что у Булата нет стихотворения о Пиросмани. Может, я просто пропустил его? Ведь не от фламандцев идет все это — и грусть, и любовь, и наивная вера, что «значит моя песенка до конца не спета», и

белоз брюшко рыбки-храмули на блюде в дымном духане... Если опросить многочисленных почитателей творчества Б. Окуджава, уверен, не много среди них найдется таких, кто бы видел его на сцене с гитарой в руках, и чтобы он по просьбе присутствующих или по велению собственной души не спел бы «Грузинскую песню», в которой соединилось прошлое и будущее, грусть и надежда, и музыка, и многоцветье красок жизни...

**Виноградную косточку в теплую землю зарю,
и лозу поцелую, и сладкие гроздья сорву,
и гостей созову, на любовь свое сердце настрою...**

А иначе зачем на земле этой вечной живу!

**Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,
говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву!**

Царь небесный простит все мученья мои и сомненья...

А иначе зачем на земле этой вечной живу!

**В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали,
в черно-белом своем преклоню перед нею главу,
и заслушаюсь я, и умру от любви и печали...**

А иначе зачем на земле этой вечной живу!

**А когда заклубится закат, по углам залетая,
пусть опять и опять предо мною плывут наяву
синий буйвол, и белый орел, и форель золотая...**

А иначе зачем на земле этой вечной живу!

...В центре Тбилиси («Земмель» — называют его коренные горожане) есть тяжелое помпезное здание («Грузуголь» — называют его тбилисцы помолже, хотя в нем уже несколько лет расположен президиум Академии наук Грузии). Его надо обойти кругом, пройти один длинный двор, миновать другой дворик, поменьше и неизвестно какому зданию принадлежащий, в угловом подъезде подняться на второй этаж, и только тогда попадешь в помещение, которое я даже не знаю, как назвать: жилая комната? рабочая мастерская? ателье художника?.. Здесь обитает замечательный мастер-фотограф Давид Наумович Давыдов. Однажды вечером в давний теперь уже год его комната была набита битком — в ней помимо хозяина собралось... три человека. Здесь было действительно тесно — ведь комната, похоже, была рассчитана только для мастера и его модели. Одним из гостей был Булат.

Среди чудесных секретов, постоянно сопутствующих этому

Эдуард Елигулашвили. Возвращение к Тинатин.

человеку, есть один, для меня совершенно необъяснимый: стоит ему появиться где-нибудь хоть на полчаса, у него в руках тотчас оказывается неизвестно откуда взявшаяся гитара. Так было и на этот раз. Когда наш друг, которого, увы, уже нет с нами, пошутил по этому поводу, Булат, ставший отчужденным и далеким, даже не повернувшись к нему, сказал:

— Мы будем работать!

Таково его отношение к делу, которое он делает. И если все же выше в связи с его работой употреблялось слово «дилетантство», то, повторюсь, в том уважительном, протизоположном «ремесленничеству» смысле, который изначально содержится в нем.

Кажется, Эйнштейну принадлежит парадоксальное наблюдение: в то время, когда все профессионалы знают, что того-то и того-то сделать нельзя, находится человек, который этого не знает, и делает это. Правда, подразумевается, что он вооружен необходимым умением сделать то, за что он берется!

Кажется, не осталось в наши дни критика или пародиста, которые бы не высмеивали попытку воссоздать в поэзии образ Пушкина, или его биографию, или отношение к искусству и т. д. Но вот появляется не стихотворение даже — песенка (конечно — Булата Окуджава), где «извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается...», и никому в голову не придет в этом обращении увидеть фамильярность или неуважение!

Или если бы сказали, что вот появилось произведение, где первым в списке действующих лиц поименован «Толстой Лев Николаевич, граф, отставной артиллерии поручик, тульский помещик, литератор, 34 лет», и знаете, в каком жанре? Не историческая трагедия, не биографический роман — такие опыты мы знали — а «старинный водезиль». Да это все он, Булат Окуджава. Больше того, он сочинил (сам признался как-то: «исторический роман сочиняю понемногу»!) произведение о вторжении французов в Россию, об Отечественной войне 1812 года, словно и не написана великая эпопея на эту тему «Война и мир», словно не закрыта эта тема.

Но Булат Окуджава пишет не вторую «Войну и мир» — он пишет «Свидание с Бонапартом», и можно понять опасения тех, кто заранее стал испытывать сомнения, насколько серьезной окажется эта попытка автора, не принизит ли тему подобное «свидание».

Подобные опасения — сочувствующие или злорадные — еще более должны были усилиться после прочтения эпиграфов, предпосланных роману. Ведь что такое эпиграф? Это камертон,

по которому должны настроиться мы, берясь за книгу. А тут их целых три.

«— Ой! — сказала Дуня. — Сперва они нас, а после мы их!»
Так и побьем друг дружку! Из романа».

«Минует печальное время—

Мы снова обнимем друг друга.

Н. Кукольник».

«...А между тем погода стояла прекрасная.

Граф Феодор Головкин».

Какая-то Дуня, неизвестный никому граф с его репликой о погоде; Нестор Кукольник, к которому отношение у нас какое-то не очень серьезное, что ли... Да и зачин в романе — тоже...

«...Ежели Бонапарт будет идти так, а он будет идти так, то через три, от силы четыре недели достигнет порога моего дома. Когда он явится (а миновать Липеньки он не сможет), я буду кормить его обедом в большом зале... Покуда будет длиться этот непродолжительный обед, Отечество, истекающее кровью, вздохнет что есть мочи, расправит могучие крылья, спохватится, генералы подавят отчаяние; воины крикнут «ура!», и все покатится в обратном направлении».

И хотя стратегические замыслы генерал-майора в отставке, бывшего командира Московского мушкетерского полка Н. Опочина подозрительно напоминают только что прочитанное в эпиграфе — «Ой! — сказала Дуня...», читатель должен почувствовать, что здесь что-то серьезнее, чем предлагаемая по-видимости игра. Отечество — вообще не то слово, которым можно играть, а для автора романа — особенно. Да к тому же, упомянутым выше эпиграфам предшествует посвящение: «Светлой памяти моего отца».

Надеюсь, читатель помнит, как свято вспоминал Б. Окуджава светлый лик матери своей.

Скоро выясняется, что водевильный замысел генерала в отставке вполне серьезен и даже драматичен — заманить к себе на обед Наполеона, чтобы, жертвуя собой, убить его, отомстить за все беды и несчастья, причиненные им, избавить Россию от супостата и узурпатора.

«Лета к суровой прозе клонят», — раз и навсегда утвердил классик в нашем сознании незыблемую формулу. Однако, как и у любого другого, у этого закона есть исключения, и, на мой взгляд, пример Булата Окуджава — одно из них. Дело не только в том, что, параллельно с историческими романами, на страницах литературной периодики систематически публикуются и его

Эдуард Елигулашвили. Возвращение к Тинатин.

поэтические произведения, что продолжают появляться ^{новые} его песни. В данном случае я имею в виду, что эпитет «суровая» к прозе его мало подходит. Он и в прозе остается верным своей интонации, к которой приучил за прошедшие десятилетия своих почитателей, и такая верность себе, конечно, одно из непреломных доказательств истинности дара художника. И мы легко принимаем «условия игры», читая роман не о Бонапарте, а об Олочинине, Свечине и молодой француженке Луизе Бигар, как раньше принимали романы о бедном Авросимове, Шипове, об Александрике и Мятлеве...

Но к чему же все-таки «клонят лета» Булата Окуджава?

Может быть, в хитроумно-комическом замысле Опочинина, помимо всего остального, проглянуло подсознательное, подспудное, «генетическое» воспоминание писателя о тех его грузинских предках, которые заманивали в микувщие века чужеземцев-поработителей к себе на пиршества, чтобы здесь покарать их?

...Не знаю, кстати ли, но вспомнился один штрих, который, возможно, покажется любопытным если не будущим биографам, то, во всяком случае, многочисленным нынешним поклонникам Булата Окуджава. Начало публикации «Свидания с Бонапартом» в журнале «Дружба народов», по традиции, сопровождалось краткой справкой о биографии автора, где между прочим было написано: «Родился в 1924 году в Москве. В 1942 году со школьной скамьи ушел добровольцем на фронт. После войны окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета».

Все здесь точно. Только значок об окончании университета он получил... в 1983 году, можно сказать, в канун шестидесятилетнего юбилея. На церемонии вручения Булат, привычно прикрывшись щитом иронии, поведал об обстоятельствах, помешавших этому акту свершиться в свое время. Если же говорить всерьез, долог и труден путь, приведший писателя к этому дню. Но — «все правильно, все справедливо» — Тбилиси сердечно прижал к сердцу «дворянина с арбатского двора», потому что это — родной его сын. Сын, много лет назад сказавший о нем, что это — «город, который меня бережет», как будто я «единственный свет у него в окне».

Своему собрату по искусству, собрату по судьбе Марлену Хуциеву посвятил Булат Окуджава такие строки:

Мы приедем туда,
приедем,
приедем, зови — не зови,



вот по этим каменистым,
по этим
осыпающимся дорогам
любви...
Пахнет персиками и любовью,
и поет Тинатин
в окне,
и моя юность с моею любовью
перемешиваются во мне.
...И по синим горам,
пусть не плавное,
будет длиться
через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.
И потом
без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем
нашу родину снова...
Но уже для самих себя.

Такое «самое главное путешествие», самое главное открытие — открытие своей родины для самих себя — длится всю жизнь. Пока бьется в груди сердце. Пока поет Тинатин в окне тбилисского домика. Пока арбатская девочка — «Не плачь, Мария, радуйся, живи, по-прежнему встречай гостей у входа...» — провожает и встречает своих мальчиков... Дорога далека и трудна, и может быть именно поэтому стихотворение Булата Окуджава, посвященное ей, состоит всего из четырех строчек:

В саду Нескучном тишина.
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут дорога...
Какая дальняя она...

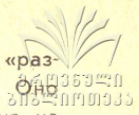


Гурам БАТИАШВИЛИ

ДАР ДРАМАТУРГА

НАЗВАНИЕ статьи **заимст-**
совано мною у **Нодара**
Думбадзе, который **называет**
Валериане Канделаки: «Кан-
делаки обладает способно-
стью превращать зрителя из
рядового наблюдателя собы-
тий в участника спектакля.
Это — дар подлинного дра-
матурга».

В драматургии последних лет наблюдалось немало новаций. Чтоб привлечь внимание зрителя, драматурги обращались к самым разнообразным формам, но все они очень быстро старели, умирали, нередко едва родившись. Валериан Канделаки же упрямо держался рамок традиционной формы, с помощью которых стремился к покорению высот, ибо твердо верил, что традиционная форма пьесы не мешает зрителю стать искренним сопереживателем событий, разворачивающихся на сцене, если в ней затронуты насущные для времени проблемы и разрешаются они с присущим подлинному драматургу мастерством. Некоторые считают, что пьеса удачна, если она изобилует красивыми фразами, изящными диалогами, забывая о том, что диалоги и в самом деле остаются лишь фразами, если слово в них не играет подобно здоровой крови. И как часто, забыв о литературной принципиаль-



ности, мы принимаем за драматургию всего лишь бойкий «разговор в 2-х или 3-х действиях». Но у времени свои каноны. Оно принципиальнее и безжалостнее нас и, к счастью, все ставит на свои места.

Я заново перечитываю пьесы В. Канделаки, чтоб еще раз почувствовать, насколько они современны, созвучны нашему времени.

Пьесы В. Канделаки были очень популярны, они ставились повсюду в Грузии. События далекой истории и нашей действительности, о которых столь достоверно и проникновенно повествовал драматург, волновали зрителя; он невольно делался их участником, радовался и страдал вместе с его героями. Не удивительно, что В. Канделаки стал одним из репертуарных драматургов.

Люди старшего поколения помнят, как трудно было попасть на спектакль «Майя из Цхнети» в театре им. Марджанишвили. Эта пьеса В. Канделаки рассказывает о героической жизни Майи — дочери грузинского народа, и чтобы увидеть ее на сцене, надо было позаботиться о билетах за месяц вперед. На спектакль приезжали со всех концов Грузии. Да, прав Н. Думбадзе, когда говорит, что одна из основных черт драматургии В. Канделаки — способность обретать в контакте с народом-зрителем новую жизнь.

Я обратил внимание на то, что, говоря о судьбе пьес В. Канделаки, обращаюсь к прошедшему времени. Это не удивительно, ведь речь идет о **сценической** жизни пьесы. Что же характерно для **литературной** ее жизни, той самой, что должна быть всегда действенна и жива? Это и есть главная тема нашего разговора. Какими же литературными, историческими и нравственными достоинствами отмечена написанная почти тридцать лет назад пьеса «Майя из Цхнети», или созданная двадцать пять лет назад пьеса «Огни Картли», или пьесы по мотивам эллинских мифов? Остались ли они достоянием того времени, читателей той поры или же продолжают жить в нашей действительности? Ведь зачастую интерес ко многим произведениям исчезает, стоит перевернуть листок календаря, и живет только то произведение (независимо от жанра), в котором наряду с насущными проблемами его времени было нечто и от завтрашнего дня, от будущего.

Разумеется, не всем пьесам В. Канделаки суждена долгая жизнь, но то лучшее, что вошло сегодня в сокровищницу грузинской драматургии, свидетельствует о его подлинном даре создавать характеры, ситуации, поднимать злободневные темы, рисо-



вать людские судьбы. Это немаловажно, если при этом также специфику драматургии. Ведь контакт между прозаиком (или поэтом) и читателем — это контакт между двумя людьми, а для того, чтобы осуществился контакт между драматургом и зрительным залом (не одним человеком!), необходимо участие множества людей.

Жизнь эллинских богов, судьба Сократа, сложные жизненные перипетии мечтателя в средневековой Грузии, Грузия второй половины восемнадцатого века, трудные дни установления Советской власти в Грузии, нравственные и бытовые проблемы нашей действительности — таков неполный перечень тем драматургии В. Канделаки. При таком мозаичном разнообразии их, разумеется, не всегда удавалось сохранить высокий литературный уровень, однако В. Канделаки по возможности старался глубоко постигнуть изображаемую эпоху, прочувствовать ее, пронести через себя. Он твердо помнил, что обстановка, в которой действуют герои, должна убеждать, что их поступками, их взаимоотношениями движет внутренняя правда, суть конфликта должна быть не только жизненной, но и убедительной. И это почти всегда удавалось ему.

Из разнообразной, многочисленной тематики произведений В. Канделаки следует все-таки выделить самую значительную тему — тему любви к родине, вокруг которой разрешается и миф об аргонавтах («Золотое руно»), и героизм людей, борющихся против персидских завоевателей («Майя из Цхнети»), и трудные дни освобождения Батуми от турецких оккупантов («Время — 24 часа»), и борьба с саботажем в процессе строительства ЗАГЭСа («Огни Картли»).

Какими бы разными ни были герои В. Канделаки, одно чувство владеет каждым — это любовь к отчизне. Во все времена, во все эпохи враг грозил Грузии порабощением, уничтожением, но никогда не иссякала сила сопротивления, не ослабевало стремление отстоять свою землю.

Во дни народных бедствий народ рождал героев, олицетворяющих его нравственную силу. И потому, как бы ни различались между собой герои В. Канделаки, сыновьями каких бы отдаленных эпох они ни были, и Исайя («Золотое руно»), и Майя («Майя из Цхнети»), и Мазнишвили («Время — 24 часа»), и Тедо Магалашвили («Огни Картли») — это символы одной идеи. У них разные имена, они отличаются внешне, и речь у них разная, но духом они едины, цель у них в жизни — одна.

Б. Брехт считал, что народ, которому необходим герой, несчастен. Грузия часто нуждалась в подобном герое, ибо слыш-

ком часты роковые моменты в ее судьбе. Да, не от хорошей жизни Грузия нуждалась в героях, хотя, перефразируя слова Б. Брехта, можно сказать, что счастлив народ, способный рождать героев. Что поделаешь, Грузия немыслима без героев, такова уж ее историческая судьба.


И Майя, и Мазнишвили служили примером для многих поколений и, перешагнув границы времени, продолжают волновать зрителя и сегодня. Велика вдохновенная сила воздействия героев на умы поколений, ведь тех же Майю и Мазнишвили вдохновили на подвиг предшествующие им герои из народа, сознательно или же интуитивно они следовали их примеру. В трудный для отчизны час в лучших сынах народа воскресает живущий в них подспудно образ героя, способного повести за собой. Вот почему так велик нравственный урок, преподанный героями Канделаки сегодняшним зрителем или читателем. Вот почему пьесы В. Канделаки интересны не только воскрешенной в них исторической действительностью, но и силой нравственного воздействия. Вспомним его пьесу о великом греческом философе Сократе; основная ее идея — «познай себя», то есть знай, чего ты стоишь, знай о своих обязанностях перед обществом — вот тогда-то ты и можешь быть полезен родине.

По-разному олицетворяется родина в пьесах В. Канделаки. В «Золотом руне» — это само золотое руно. Лишиться его — значит обескровить отчизну, а слабая, обескровленная земля станет достоянием врага. В «Огнях Картли» отчизну олицетворяет ЗАГЭС, ибо исторически конкретный отрезок времени, в который она возводилась, по мнению писателя, решал ее судьбу. Я не вижу принципиальной разницы между дочерью Азта Медеей, предавшей родину, разменявшей ее на красавца из чужого племени, и меньшевиками, также бессовестно продававшими родину... Они — дети разных эпох, они действуют в различных исторических ситуациях, но каждый из них приносит несчастье родной земле.

Более конкретными чертами наделены лжепатриоты в пьесе «Майя из Цхнети», люди, обратившие родную землю в средство осуществления своих корыстных целей.

Образы и символы в пьесах В. Канделаки раскрывают его писательский профиль, сферу его интересов и стремлений. Возрождая героев прошлого, рассказывая о ранах прошлого, о том, что волнует его, драматург служит будущему, воспитывает будущее поколение в духе патриотизма.

В пьесе «Время — 24 часа» герои, пройдя через сложнейшие жизненные испытания, обретают право говорить о своей кровной связи с родной землей. Духовная драма героев этой пьесы свя-



зана с их политическим крахом. Вспомним слова главы грузинского меньшевистского правительства, обращенные к большевику Серго: «Мы думали, что, объединившись с турками, не впустим в Грузию коммунистов, думали, они позаботятся о создании между Турцией и коммунистами буферного государства, то есть независимой Грузии. Разумеется, их бы больше устроила граница на Кавкасиони, нежели здесь, у Хопи или Сарпи. Однако турки решили прибрать к рукам Батумский округ. Это стало для меня очевидным, когда мы проиграли войну. Мы отрекаемся от союза с дьяволом, и если вы, грузинские коммунисты, незамедлительно не исправите нашу ошибку, в дальнейшем это выльется в Батуми в грозную войну, а когда она будет, эта война, никто не знает. Так вот, если вы в самом деле любите свою землю, воюйте за нее сейчас».

И большевик Серго находит мудрое решение: освободить Батуми и Аджарский округ от захватчиков с помощью меньшевистской армии. Военные действия возглавляет генерал Мазнишвили, и вновь звучит лейтмотивом тема служения стране: когда твою землю топчут вражеские солдаты, интересы всех партий, все политические позиции сводятся к одной — к защите отечества, его спасению (эта мысль отчетливо сквозит и в конфликте Рипата и Какутела, когда Рипата восклицает: «Когда трудно отчизне, вера тут ни при чем»). Именно эту мысль и внушили большевики меньшевикам. Они становятся друзьями на 24 часа. У классовых врагов появляется общая цель — освобождение родной земли. Мазнишвили не стал большевиком, но беспредельная любовь большевиков к родной земле, их стремление бескорыстно, до последнего дыхания служить ей заставляют его смотреть на происходящее иными глазами. В пьесе происходит совмещение несовместимого. Большевики борются под флагом большевиков, и чем самоотверженнее их борьба, тем сильнее боль от того, что талант, ум, энергия этих людей погибли втуне.

Победа Мазнишвили и его соратников над турками — исторический приговор инертности грузинских меньшевиков, еще вчера считавшихся хозяевами страны и из-за политической близорукости и беспомощности отдавших землю на растерзание иноземцам. И вот, наконец, и побежденные и победители на одном корабле покидают Советскую Грузию. Примечателен диалог между турецким офицером и «победившим» грузинским генералом.

Офицер: Что ж, объединимся, будем бороться вместе.

Андроникашвили: Политика — что молоко, которое стоит на огне. Вскипело оно, сбежало — и в кастрюле ничего не оста-



лось. Мы не можем воевать вместе, видите, вот наши чемоданы мы бежим.

Офицер: Что у вас в чемоданах?

Андроникашвили: Разное барахло.

Офицер: За что же вы проливали кровь?

Андроникашвили: За землю.

Офицер: А если на ней господствуют коммунисты?

Андроникашвили: Это дело народа — пусть выбирают в правители кого хотят. Главное, чтоб земля досталась хозяину. Такова формула борьбы против оккупантов.

Офицер: Пролили кровь, выиграли битву, а теперь бежите... А, я понял! Вы получили деньги!

Андроникашвили: Какие деньги?..

Офицер: Так чему же вы поклоняетесь?

Андроникашвили: Мы — идолопоклонники!.. Слово это я слышал однажды в Пшави и второй раз в Батуми. Как это звучит величественно — идолопоклонники!

Офицер: Так назовите своего идола!

Андроникашвили: Земля!

Офицер: И кому же она достается?

Андроникашвили: Опять вы за свое!

Офицер: Что вы получили взамен?

Андроникашвили (потеряв терпение): Рожки да ножки!

Офицер (вытирает пот): Понятно... Вы псы, преданные отчизне псы. Что ж, для нас нет ничего почетнее, чем, потерпев поражение, возвращаться вместе с победившими генералами. С превеликим удовольствием. Такого военная история не помнит...

Вот потому-то и являются эти «идолопоклонники» трагическими личностями. Они освобождают землю, ту самую обгавленную их кровью землю, на которой для них нет места.

Так что же происходит, где следует искать истоки поражения меньшевиков и победы большевиков? Почему одни, вооруженные и оснащенные техникой, терпят поражения, а другие, у которых нет ничего, кроме «тюремной одежды да голых рук», все-таки побеждают, какая закономерность движет этими событиями?

Вот какие мысли рождаются при прочтении пьесы, и ответить на них не трудно — победу определяет та внутренняя духовная энергия, та сила, которая служит правому делу и которая так четко проявляется в действиях Серго и его единомышленников. Мазнишвили, Карумидзе, Андроникашвили не могли не потерпеть духовного краха, поскольку, несмотря на любовь к отечеству (а ведь они любили его «по-своему» и вчера, когда

фактически открыли дорогу врагу), они не наделены той самой духовной силой, которой богаты Серго и его соратники. Поступки их вызывают чувство жалости (подобное чувство охватывает тебя, когда ты встречаешь старого знакомого, спившегося и духовно деградировавшего). Да, их жаль, ибо не хватило у них силы подняться над своим классом. Они не поняли, в чем истинное спасение родины, и если бы не мужество Серго, его умение сориентироваться в сложившейся обстановке (небезынтересно, что драматург использовал в своей работе мемуары известного грузинского революционного деятеля Серго Кавтарадзе, опубликованные в журнале «Мнатоби» в конце 50-х годов), то инертность меньшевиков дорого обошлась бы народу.

В пьесе «Время—24 часа» пересекаются линии политической и бытовой драмы, во всей полноте раскрывая панораму жизни народа. Придут поколения, которые по-своему взглянут на эти события, по-своему оценят их, но главная мысль, выражающая суть драмы, непременно останется предметом внимания.

Иного характера пьеса «Майя из Цхнети». Она отличается от первой своей структурой, принципом построения, «строительным материалом», которым на этот раз пользуется драматург. «Майя из Цхнети» — не просто рассказ о героической девушке, это рассказ о трагической судьбе народа, способного родить героя, который встанет на защиту отечества. Поистине бессмертен народ, способный родить героя! Нередко испытания, выпавшие на долю народа, лишь закаляют его, учат духовной стойкости, способствующей возрождению. Не случайно царь Ираклий говорит спасалару: «Каждый день нашей жизни — это балансирование над пропастью». Да, перед грузинским народом не раз вставали опасности и преграды, и народ стойчески преодолевал их. Нет необходимости пересказывать историю героической девушки из деревни Цхнети. Сколько подобных героев было в Грузии! И сколько раз грузинские цари, связанные по рукам внутренней междоусобицей, не могли противостоять внешнему врагу! Взрыв гнева Майи против вероломных князей — это взрыв гнева народного.

Охваченный жаждой отстоять страну народ противопоставляется в пьесе вероломным князьям, жаждущим одолеть царя. А в ту пору, на том этапе исторического пути измена царю равнялась измене отечеству. На мой взгляд, пьеса несколько пострадала от слишком четкого классового разграничения персонажей: у автора пьесы все князья — предатели и изменники, а

16.09.59
3102-1110333

все представители из народа — люди, преданные царю Ираклию, а стало быть — отчизне. Но вернемся к центральному образу пьесы — образу Майи. В разных обстоятельствах проявляется личность героя, раскрываются его духовные качества. Случается, герой сам ищет выхода своему героическому началу, однако куда важнее, когда дремлющие в нем силы раскрываются благодаря независимой от него исторической или социальной атмосфере. В пьесе В. Канделаки — налицо слияние обоих моментов.

До той поры, пока князь не взял в служанки Майю, она была самой обычной деревенской девушкой. Но когда князь попытался обесчестить ее, она убивает его, восстает против насилия. Стало быть, именно это обстоятельство проявило дремлющие в ней силы, и Майя становится на путь борьбы. Она еще больше убеждается в справедливости своих действий, когда становится свидетелем купли-продажи грузинских парней и девушек. Обретя внутреннюю свободу, она пробуждает чувство протеста и в других. В первых двух действиях образ героини в основном обрисован, раскрыт ее духовный облик, однако задача автора продолжает оставаться нелегкой, я бы даже сказал — она осложняется тем, что некоторое однообразие действий ослабляет интерес зрителя к пьесе.

Однако автору хватило мастерства, глубокого знания канонов драматургии, чтоб изменить ход событий — в последующих сценах уже не поступки других лиц порождают действия, в которых проявляются душевные качества Майи, но она сама, ее духовный мир, ее нравственные нормы предопределяют ее действия. Это уже действия человека, сбросившего цепи, действия свободного духа (вспомним, с какой решимостью рассказывает она царю о продажности князей, вспомним ее побег из тюрьмы и т. д.). Умение создавать контрастные ситуации, обстоятельства, в которых раскрывается духовный облик персонажа, помогло драматургу в создании реальных, живых, запоминающихся образов.

Иначе подходит В. Канделаки к использованию конкретных средств в небольшой пьесе «Рисовалась картина» — о первых днях установления Советской власти в Грузии. В пьесе всего три действующих лица. Сюжет ее прост. Совершилась революция, председатель ревкома решил повесить у себя в кабинете портрет вождя революции В. И. Ленина. Он посылает Лексо за художником Александром. Тот приводит художника, не преминув при этом прибегнуть к силе. Драматургу удается не только обрисовать характеры, но и рассказать об отношении

народа к революции. По понятиям Александра, революция, утверждение Советской власти в Грузии — это путь к прогрессу, это торжество Человека, уважение к его достоинству. Почти так же понимает это и председатель ревкома, Лексо же (или, как называет его автор, — Лексо с ружьем) иначе представляет себе завоевания революции. По его мнению, она дает ему право мстить богачам, даже ценой насилия над личностью. Противопоставляя эти два мировоззрения, В. Канделаки показывает развитие общественной мысли в молодой Советской Грузии. Красной нитью проходит мысль о том, что судьбой народа, революции должны заниматься не только чистые руки, но и чистые сердца, иначе одно насилие может смениться другим.

Охотно обращался В. Канделаки к эллинским мифам. В пьесах «Золотое руно», «Аэт», «Сократ» и «Прометей» также чувствуется опытная рука драматурга, умеющего строить диалог, но, на мой взгляд, глубиной художественного мышления, переключкой с современностью они уступают пьесам, о которых шла речь выше. Это лишнее подтверждение тому, что даже самая серьезная тема, если не придать ей новое звучание, не осмыслить ее по-новому, не найти в ней того главного, что может взволновать умы и сердца, останется лишь на уровне развлекательного сюжета.

В пьесах о современности, о наших днях В. Канделаки отдает в основном предпочтение морально-этическим проблемам, то есть обращается к злободневной в нашем общественном быту теме. В этом смысле, несмотря на сюжетную устарелость, интересны пьесы «В заповеднике» и «Белая ночь». Иного плана — пьеса «Ожидание». Сдержанно, с присущим ему тактом рассказывает драматург о быте, исполненном драматизма, причем драматизм этот не лежит на поверхности, не выпирает в сюжете.

Специфика драматургии такова, что она не очень-то благоволит к показу судьбы героев через воспоминание, в пьесе все должно происходить на сцене, перед зрителем. К чести В. Канделаки следует отметить, что в «Ожидании» ему удалось достигнуть связи между прошлым и настоящим Игнатиуса и Валерии, прошлое и настоящее объясняют и дополняют друг друга. Но, к сожалению, бледны образы Мери и Бидзины, словно они написаны только лишь для создания фона. На мой взгляд, не конкретизирована их функция сегодня, в той ситуации, которая происходит на сцене. Хотя образы Игнатиуса и Валерии наглядны и убедительны, финальный монолог Игнатиуса, на мой взгляд, спорен.

В трех пьесах («Майя из Цхнети», «Время — 24 часа» и «Огни Картли») я не могу не отметить три образа. Это Джемал, Рипата

16.03.59
519-11033

и Палатэ, которые, мне кажется, фактически представляют собой вариации одного образа. У них схожие социальные биографии и исполняют они одну функцию, олицетворяя собой, Доброту.

В. Канделаки, автор множества пьес, драматург с большим творческим опытом, прекрасно чувствовал все оттенки сценической жизни, понимал, как много значит подлинная жизнь на сцене. Вот почему так хорошо удался ему обобщенный образ Доброты. Маска Берики, олицетворяющая Доброту и Достоинство, переходит из пьесы в пьесу, являясь в различных вариациях и параллельно с основной идеей пьесы раскрывая мудрость народа, его добрую душу.

Многообразие, многогранность — особенность подлинного художника. Плох тот художник, который скудеет день ото дня. Достаточно лишь беглого взгляда на драматургическое наследие В. Канделаки, чтоб убедиться в том, что ему было о чем рассказать своим многочисленным читателям. А разве не в этом высокое предназначение искусства?



ХРОНИКА

ГОГОЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ТБИЛИСИ

В СТОЛИЦЕ Грузии прошли литературные чтения, посвященные 175-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, организованные по инициативе Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии. В гоголевских чтениях приняли участие известные писатели и литературоведы из Москвы, Ленинграда и Тбилиси.

Юбилейные чтения прошли в доме современницы Пушкина и Гоголя А. О. Смирновой-Россет. Один из докладов, прочитанных в эти дни, был посвящен взаимоотноше-

ниям Смирновой-Россет и Гоголя. С ним выступила литературовед Н. Колосова. О гоголевских материалах в собрании Государственного музея А. С. Пушкина рассказала заместитель директора по научной части музея Н. Михайлова. С докладом «Чаадаев и Гоголь» выступил литературовед Б. Тарасов, с докладом «Гоголь и Блок» — писатель И. Золотусский.

В гоголевских чтениях приняли участие кандидат филологических наук, заведующий отделом литературной критики журнала «Огонек» В. Енишерлов, доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института мировой литературы Ю. Манн и другие.



Юрий СУКИАСОВ

НАДО ПОМНИТЬ!

23 июня 1941 года — второй день войны с немецко-фашистскими захватчиками.

Еще накануне у бойцов было хорошее настроение — впереди выходной день! И вдруг — война!

Железнодорожные воинские части строили, в порядке боевой учебы, железнодорожную линию Вапнярка — Ямполь — Окница. Когда же стало известно о вероломном нападении на нашу Родину фашистских захватчиков, прекратили строительные работы и получили боевой приказ занять оборону вдоль Днестра.

Утром прослушали по радио Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении в стране военного положения и о мобилизации.

Прошли короткие солдатские митинги. В первой путевой роте митинг открыл заместитель командира роты по политической части — младший политрук Михаил Степанович Токарев.

На митинге выступали красноармейцы Доментий Джикия, Пётр Качкин, Артем Григорьян, старший сержант Иван Фролов. Последним на митинге гозорил командир роты, старший лейтенант Мартин Шаваршович Сисакян:

— Враг скоро почувствует мощь и силу наших доблестных Вооруженных Сил, сплоченность нашего многонационального народа...

Сразу после митинга младший политрук Токарев — невысокий и коренастый, с пронизательным взглядом серых глаз из-

под кустистых бровей — подозвал к себе секретаря ротной комсомольской организации замполитрука Андро Татишвили.

— Вам задача: выпустить стенную газету... Пусть люди выскажутся, как понимают свои задачи в новых условиях... Газету надо сделать оперативно, чтобы к утру она висела.

Все это было утром 23 июня. Потом рота совершила маршбросок из-под села Игнатково, где находилась последнее время, к Днестру. Здесь расположились повзводно в спрятанных под землей, замаскированных блиндажах.

В давно пустовавших дзотах пахло сыростью и затхлостью. Воины-железнодорожники тщательно разглядывали в бойницы секторы обстрела. Стелили на земляные полы свежее сено, собранное с окрестных лугов. Новая обстановка не располагала к громким разговорам и оживлению. Обычно шумливый и разговорчивый старшина роты Хоменко, чей громкий бас раньше звучал в роте с подъема и до отбоя, вдруг стал молчаливым, немногословным. Он подошел к замполитруку, занятому вместе с красноармейцами Медведевым и Волковым оформлением свежего номера стенгазеты, и отозвал его в сторону.

— Помощник по снабжению батальона, капитан Сентещев только что собирал нас — старшин рот. Приказал срочно разгрузить ротные каптерки, раздать нуждающимся красноармейцам предметы обмундирования... У меня в каптерке четыре пары сапог... Идем, товарищ Татишвили, — заберешь себе пару. Негоже замполитруку ходить в обмотках, — сказал он...

Андро подумал, что, конечно, весьма заманчиво обуться в сапоги, пусть даже кирзовые. Очень уж надоело без конца накручивать обмотки, да и икры ног от них устали... Но ведь в роте, кроме командиров и старослужащих, все в обмотках и ботинках. Стоит ли выделяться среди друзей-красноармейцев?

— Вам же капитан Сентещев приказал обновить обмундирование у нуждающихся. Так, старшина? А у меня ботинки в полном порядке, посмотрите! Похожу пока в обмотках, невелика беда!

Хоменко только пожал плечами.

Поздно вечером стенгазета была готова. Свернув ее в рулон, замполитрука пошел к Токареву.

Токарев и Сисакян обосновались в небольшом блиндаже. Тут стояло два топчана, покрытых соломой. Посередине — маленький самодельный стол. Горела небольшая керосиновая коптилка.

Андро быстро вошел в блиндаж, развернул рулон-стенгазету.

— Молодец! — похвалил его младший политрук и принялся читать короткие солдатские заметки.

Тем временем старший лейтенант Сисакян пристально смотрел на обувь замполитрука.

— Почему не в сапогах, товарищ Татишвили? — с ноткой неудовольствия спросил он. — Я же приказывал старшине! Вызовите сюда Хоменко.

— Товарищ старший лейтенант, старшина тут ни при чем, — спокойно сказал Татишвили. — Просто у него в каптерке не оказалось моего размера...

Командир роты недоверчиво оглядел замполитрука, хмыкнул, но промолчал.

Подразделения 10-го батальона выдвинулись на железнодорожные участки Молдавии: Бельцы — Рыбница — Слободка и Калараш — Кишинев — Бендеры.

Открылась новая страница в истории батальона воинов-железнодорожников. Он был сформирован в начале гражданской войны. Тогда эта железнодорожная часть именовалась 10-м отдельным железнодорожным полком, который в составе легендарной 11-й Красной Армии помогал трудящимся Закавказья устанавливать Советскую власть в 1920—1921 годах.

В феврале 1921 года 10-й железнодорожный полк после восстановления Пойлинского моста через реку Куру вступил в столицу Советской Грузии и с тех пор все время, вплоть до весны 1941 года, размещался в городе Тбилиси, в военном городке на левом берегу реки Куры — в Дидубийских казармах, рядом со старым городским ипподромом.

В 20-х и начале 30-х годов 10-й железнодорожный полк имел казармы не только в Дидубе, но и на Кукийской горе, за железнодорожным полотном. В середине 30-х годов, после прошедшей в армии реорганизации войск, полк был переформирован в отдельный железнодорожный батальон с непосредственным подчинением командованию Закавказского Военного Округа.

В начале же апреля 1941 года батальон прибыл из Тбилиси к западным границам нашей Родины для участия в скоростном строительстве железнодорожной линии Вапнярка — Окница...

В первые недели войны вражеская авиация непрерывно и ожесточенно бомбила прифронтовые железные дороги. Налетам подвергались не только большие и малые станции, но и мосты, путепроводы, все мало-мальски значительные железнодорожные объекты.

Враг во что бы то ни стало стремился нарушить работу железнодорожного транспорта, сорвать подвоз к линии фронта боеприпасов, горючего, продовольствия, пополнения личного состава



ва, задержать эвакуацию в тыл страны промышленных предприятий и народнохозяйственных грузов, санитарных поездов.

От военных железнодорожников требовалось в самые короткие сроки ликвидировать последствия налетов авиации врага и артиллерийских обстрелов, обеспечивать бесперебойную работу транспорта.

Нашим бойцам не раз приходилось с риском для жизни спасать объекты, вагоны и цистерны, объятые пламенем, расцеплять составы, укрощать огонь водой и песком. Несколько раз такие команды по ликвидации пожаров возглавлял замполитрука Андро Татишвили, проявляя завидную выдержку, смелость и мужество.

* * *

Многие красноармейцы тяжело переживали необходимость ломать и жечь народное добро, материальные ценности, созданные с таким большим трудом. С грустью и горечью говорили об этом между собой...

Андро Татишвили отлично понимал психологический настрой личного состава и любую возможность использовал для беседы с красноармейцами.

— У нас, в Тбилисском институте инженеров железнодорожного транспорта, который я закончил год назад, — рассказывал Андро Татишвили, — был замечательный ученый и педагог, профессор Кириак Самсонович Завриев. Читал он нам курс сопромата и статику сооружений. Так вот, в 1919 — 1920 годах он жил в Армении. В то время там власть захватили буржуазные националисты — дашнаки. Они вели братоубийственную войну с соседней меньшевистской Грузией, где у власти тоже были буржуазные националисты—меньшевики... В какой-то момент военное счастье улыбнулось грузинским меньшевикам и они перешли в наступление на войска дашнаков. Тем пришлось поспешно отступить. Руководители дашнакского правительства вызвали инженера Завриева и приказали ему взорвать самый высокий, в несколько десятков метров, железнодорожный мост на линии Тифлис — Ереван, через огромный овраг Заманлу. Инженер Завриев с гневом отклонил это предложение. «Моя профессия строить мосты, а не разрушать их! Делать этого не буду», — твердо заявил он. Дашнаки чуть не расстреляли Завриева заслушание. Но мост остался целым. Он и поныне стоит. А о дашнаках и меньшевиках уже никто и не помнит. В той ситуации Кириак Самсонович Завриев был глубоко прав, его поступок — это поступок настоящего патриота, не пожелавшего исполнить приказ антина-

родного правительства... Сегодня мы имеем дело со злейшим врагом советского народа и всего человечества. Мы не имеем права оставлять этому заклятому врагу ни одного целого сооружения. Ведь враг сразу же использует это против нас. Надо, чтобы земля наша горела у фашистов под ногами... Как советские патриоты, мы обязаны, хотя нам больно и тяжело, разрушать и ломать все перед своим отходом на восток, чтобы коварный враг не воспользовался нашим добром, нашими заводами, нашими железными дорогами. Но мы выгоним фашистов и вернемся—все восстанвим, выстроим вновь.

Андро обвел внимательным взглядом всех стоящих перед ним красноармейцев. Убедительно ли он говорил? Все ли поняли его?

— Ничего фашисты от нас не получают, кроме своих могил,— мрачно, но убежденно высказал общее мнение красноармеец комсомолец Ираклий Когуашвили.

Однажды младший политрук Токарев вызвал к себе Андро Татишвили.

— Получена телефонограмма из политотдела бригады. Предлагается одно место на краткосрочные ускоренные курсы политруков при штабе Южного фронта. Вы, товарищ Татишвили, подходите по всем данным: член партии, образование — высшее, общевоинская подготовка хорошая, морально-политическая закалка крепкая. Можете писать рапорт. Мы с товарищем Сисакяном поддержали вашу кандидатуру. Уже через несколько месяцев будете офицером-политработником!

Андро Татишвили задумался. Почетно стать офицером... Но как же товарищи по оружию? Оставить их в эти критические дни?

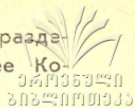
— Товарищ младший политрук! А вы лично что бы мне посоветовали? Или, может быть, я не очень здесь нужен?

— Ну что ты, Андрей, — совершенно неожиданно даже для себя самого перешел Токарев на «ты». — Ты здесь очень нужен, очень, но ведь не все замыкается интересами нашей роты. Так что решай сам.

— Решил. Рапорта писать не буду. Во всяком случае, пока фашисты топчут нашу землю, мое место вместе с вами, здесь, на фронте...

31 июля 1941 года командиру 10-го железнодорожного батальона подполковнику Капранову стало известно, что расположенные западнее и северо-западнее станции Котовск, в районе:

Слободки и Нестоиты артиллерийские и стрелковые подразделения оставили свои позиции и отошли куда-то восточнее Котовска.



Теперь впереди был только враг.

Прибывший утром со сборным товарным составом из соседней станции Борщи машинист рассказал, что его поезд обстреляли в трех-четыре километрах от Котовска немецкие мотоциклисты. Несколько минут фашисты преследовали состав...

Воины-подрывники разбились на команды, заняли исходные места на северной и южной горловинах станции. В центре станции, в пассажирском здании, устроил свой командный пункт комроты Сисакян. Здесь же находился Андро Татишвили.

Немецкие части ожидалось с севера, со стороны станции Слободка. Еще несколько дней назад были получены сведения, что враг захватил Рыбницу и Кодыму в 30 километрах севернее и западнее Слободки и движется к ней. Между тем железнодорожная линия на юг от Котовска, в сторону Раздельной и Одессы, еще двое суток назад действовала. Поэтому на северную оконечность станции были выделены самые смелые и инициативные воины. Здесь, у северного стрелочного поста, заняла позицию четверка во главе с младшим сержантом Михаилом Бобровым. С ним были тут красноармейцы Сико Сурмава, Оганез Чилингарян, Ишхан Кюркчян. У них все было подготовлено к взрывам. Ждали только приказа. Внезапно на южном конце станции раздалась стрельба из автоматов, близкие разрывы мин, шум боя.

Уже горели здание вокзала и привокзальные постройки.

К северному посту прибежал взволнованный Андро Татишвили.

— Командир приказал немедленно произвести взрывы и быстро отходить на юго-восток... Сбор у деревни Липецкая... Фашисты захватили южную часть станции...

Немцы ворвались в Котовск не с севера, как предполагалось, а с юго-запада.

— Все ручные гранаты сюда! — скомандовал Татишвили. — Мы с Бобровым прикрываем. Остальные — к зарядам!

Кюркчян, Сурмава и Чилингарян побежали выполнять команду — поджигать фитили коротких зажигательных трубок.

Андро Татишвили и Михаил Бобров держали оборону. Оба — отличные стрелки и хорошие спортсмены, они меткими выстрелами заставили фашистских автоматчиков остановиться и залечь.

Но вот немцы появились в других местах — справа и слева — всего в 30—40 шагах от стрелочного поста. Они явно стремились взять смельчаков в окружение. У обороняющихся

кончались патроны. Тогда в ряды атакующих гитлеровцев полетели одна за другой ручные гранаты.

Но вот все запальные шнуры зарядов подожжены, Сурмава, Чилингарян и Кюркчян побежали назад.

Задача выполнена! Бобров и Татишвили, метнув последние гранаты, быстро побежали вслед за остальными.

За их спинами гремели взрывы. В воздух полетели стрелочные крестовины и переводные механизмы, куски рельсов. Медленно оседала взорванная водонапорная башня. Вся станция была в огне и дыме. Бойцы выбежали на окраину привокзального поселка и по широкой проселочной дороге быстро зашагали на восток. Им вслед непрерывно стреляли вражеские автоматчики.

— Далеко нам не уйти, — негромко проговорил Чилингарян. Все ускорили шаг, перешли почти на бег. Тяжело дышали.

— Не унывать! — приказал Андро Татишвили. — Давайте-ка лучше споем!

И затянул: «Чемо цидинатэла...» Остальные воины подхватили знакомый мотив. Ведь в команде все, за исключением Михаила Боброва, были родом из Грузии: три тбилисца и кутаисец Сико Сурмава. Так прошли-пробежали километра три-четыре. Выбились из сил. А издали по-прежнему доносилась автоматная стрельба. Постепенно темнело. Вдруг Андро Татишвили радостно закричал:

— Ребята! Лошади!

Действительно, в вечерних сумерках красноармейцы заметили лошадей на безлюдном колхозном дворе. Ни души кругом. Через несколько минут группа всадников ехала рысью по ночной дороге на юго-восток.

В десятых числах августа 1941 года 10-й батальон сосредоточился в Николаеве и на прилегающих к этому городу железнодорожных станциях.

Здесь батальон получил специальное задание: срочно эвакуировать в тыл ценное оборудование с судостроительного завода. Работали в огромных николаевских морских доках. С раннего утра и до вечерней темноты красноармейцы загружали большие морские баржи, вручную перетаскивая тяжелые ящики, сотни и тысячи тонн груза.

Немилосердно жгло южное солнце. Не давали покоя постоянные налеты вражеской авиации. Андро Татишвили сразу же возглавил многочисленную команду комсомольцев — бойцов «своей роты».

Расположилось подразделение в общежитии завода. К этому



времени большинство молодых рабочих было призвано в Красную Армию, девушки разъехались по родным селам. Общежитие почти пустовало. Вечерами, несмотря на сильную усталость после тяжелого дня (молодость брала свое!), Андро собирал вокруг себя красноармейцев, пел грузинские песни, аккомпанируя себе на гитаре, чудом сохранившейся в общежитии.

Так же задумчиво исполнял он популярные «Калинку», «Катюшу», армейские песни. К песне, как на огонек, тянулись солдаты и командиры из других рот — сержант Антон Рябченко, руководивший до войны батальонной красноармейской самодеятельностью, участники этого ансамбля — сержант Миша Елисеев, красноармеец Жора Басилашвили, младший сержант Гриша Николаев и многие другие. Откуда-то появлялись мандолины и балалайки. Начинался импровизированный концерт. На какие-то часы забывалась тяжелая действительность.

Андро Татишвили очень любил поэзию. Поэму «Како-разбойник» Ильи Чавчавадзе он знал наизусть и вдохновенно ее декламировал. Очень любил Лермонтова, особенно его «Мцыри». Часто в свободную минуту мы слушали его проникновенное чтение:

**...Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, — не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил...**

Тучи сгущались над Николаевым.

К 14 августа немногочисленная артиллерия с огромным трудом сдерживала наседающего врага. У самого города появилась колонна немецких танков, ее удалось остановить... Надолго ли?

Воины-железнодорожники в срочном порядке приступили к подрыву участка Николаев — Херсон протяженностью более 60 километров. Надо было спешить. В Херсон уже прорвались гитлеровцы. Железнодорожный путь взрывали прямо на глазах у фашистских автоматчиков, в самый последний момент, отходя к морскому побережью.

15 августа 1941 года команда подрывников, в составе которой был и замполитрука Андро Татишвили, на одной из последних барж ушла морем из Николаева в Севастополь. С суши Николаев к этому времени был блокирован врагом.

Осенью врагу удалось перекрыть с суши Крымский полуост-

ров, форсировать Перекоп и Сиваш. Ожесточенные бои шли на крымской земле.

БОИ ШЛИ НА
ПЕРЕКОП И СИВАШ

Замполитрука Андро Татишвили находился на самых опасных участках, действовал в составе команд подрывников. В эти дни его избрали секретарем комсомольской организации батальона — комсоргом части. Все ярче и сильнее проявлялись незаурядные способности молодого коммуниста, его кипучая энергия, смелость и настойчивость, организаторский талант, умение работать с людьми. В любой обстановке Андро умел находить верный подход к каждой категории военнослужащих, к красноармейцам разных национальностей. В этом ему помогало то, что кроме родного грузинского языка он в совершенстве знал русский язык, довольно свободно говорил по-армянски и мог изъясняться по-азербайджански.

Авторитет комсорга среди личного состава был очень высок. Его одинаково любили и уважали рядовые красноармейцы, сержанты, офицеры части, старшие начальники...

Безвременно ушел из жизни подполковник Андрей Дмитриевич Татишвили. Смертью храбрых погиб на поле боя комбат подполковник Капранов. Нет ныне среди нас ни майора Сисакяна, ни ставших впоследствии офицерами Сурмава, Чилингаряна, Басилашвили, Кюркчяна, Боброва.. Но нам, оставшимся в живых, нельзя о них забывать.



Т. ТИМИН

ЕЙ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...

МОЛОДЫЕ девчата заполнили кузов ЗИСа. По дороге из Москвы их становилось все меньше: одних оставили в Голицыно, других — в Кубинке, третьих ссадили у дороховского перекрестка. Потом пристроили и последнюю пятерку. Здесь уже фронт. Правда, пули пока не свистят, самолеты не бомбят и снаряды не рвутся. Но народ тут — одни военные и никто не суетится, каждый занят своим делом. А что же им, девчатам, делать?

— Командир полка скажет, — ответил пожилой сержант, который сопровождал их от самой Москвы.

Наконец девушек повели по оврагу куда-то в сторону. Куда? В армии спрашивать не положено.

Прямо в склоне оврага Кето заметила несколько дверей и даже небольших окон. Возле одной двери их остановили и велели подождать. Сержант прошел в дверь, а через несколько минут вышел и сказал, что с девчатами будет разговаривать командир полка капитан Харламов, и велел Кето идти первой.

Она не сразу привыкла к полумраку блиндажа, но разглядела сидевшего за столом человека в гимнастерке с блестящими ремнями через плечо. Доложила о своем прибытии.

— Садитесь и расскажите о себе, — велел капитан.

«Должно быть, в прошлом учитель или комсомольский вождь, — отметила про себя Кето. — Воспитанный и довольно симпатичный».

— А что рассказывать-то? Прибыла из Москвы защищать Родину, — сказала Кето.

— Сколько вам лет, Кето?

— Восемнадцать.

— Молодость, романтика!.. А война очень жестокая проза-тяжелая, опасная, кровавая.

— Не надо меня пугать, товарищ капитан.

— Что вы, что вы, товарищ Модебадзе, я вовсе не пугаю, я просто напоминаю о том, что война — штука жестокая, а тем более для такой юной и хрупкой девушки, как вы.

— Я знала, куда иду.

— Пойдете в хозяйственный взвод. Стирать-чинить солдатское обмундирование — самое нужное и посильное для юной девушки дело.

— Что?! — переспросила Кето с вызовом.

— В хозяйственный взвод, говорю, пойдете, заведовать прачечной, — как-то буднично сказал Харламов.

— Не для того я пошла на фронт, чтобы стирать белье! Я хочу воевать. Хочу в разведку! — дерзко сказала она.

Харламов еле заметно улыбнулся, но не осадил Кето, а терпеливо объяснил, что разведка — дело опасное и трудное, она не для хрупких девичьих плеч.

— Я отлично владею немецким языком, мое место в разведке...

— Владеете немецким? Это интересно. А кто вы по национальности? Фамилия у вас грузинская, а внешность — русская.

— Кто я? — переспросила девушка с улыбкой. — «Дитя чиатурца и сибирячки! Добрый сплав!» — сказал про меня Серго Орджоникидзе, большой друг моего отца.

Отец Кето Карп Спиридонович Модебадзе был профессиональным революционером. Будучи в ссылке в Сибири, женился на русской девушке. После революции он стал управляющим трестом «Чиатурмарганец», затем побывал во многих странах мира. В 1932 году Советское правительство направил его в Германию. Семилетняя Кето была с отцом. Она играла с детьми немецких рабочих, быстро овладела языком. По возвращении домой училась в 107-й тбилисской средней школе, в которой многие предметы преподавали на немецком языке...

— Хорошо, Кето, я учту ваше желание и ваши способности в немецком языке, а пока — не обижайтесь, идите туда, куда назначили...

Была осень 1942 года. Пришлось Кетеван Модебадзе пойти в хозяйственный взвод.

«Это — временно», — утешала она себя и чинила, стирала солдатское обмундирование, а в часы досуга разбирала-собирала винтовку, автомат или пулемет, которые привозила в полковые тылы трюфейная команда.

• • •

Однажды в мастерскую к Кето пришел красноармеец и просил ушить в нескольких местах маскировочный халат.

— Болтается, понимаешь, как балахон, а снайперу это не годится, ветер может надуть халат, как парус, враг увидит, и не станет в нашем полку снайпера Тараса Саджая.

Акцент и фамилия выдавали грузинское происхождение снайпера, и Кето так безотчетно обрадовалась этой неожиданной встрече, словно перед ней предстал родной брат. Она сделала все, что просил земляк.

— Спасибо, сестренка.

— Пожалуйста, батону Тарас, — ответила Кето.

— О, вы знаете грузинский? — удивился Тарас.

— Как же не знать родного языка!

— Вы — грузинка? По внешности вы совсем непохожи.

Саджая записал адрес Кето и обещал первого же сраженного фашиста записать на ее счет.

Кето рассказала земляку, как после окончания восьмилетки пришла в военкомат, попросила отправить на фронт. Военком, седой подполковник, улыбнулся по-отечески и сказал: «Спасибо, дочка, что пришла помочь Красной Армии. Но я хочу дать тебе честное слово, что у нас в стране достаточно молодых и здоровых мужчин, чтобы разгромить фашистов. А девочек пока на фронт не берем. Не берем, понимаешь? В госпиталь послать можем, там девочки нужны».

— Я согласилась. Он кому-то позвонил, и вскоре в кабинет вошла пожилая женщина в форме майора медицинской службы. «Вот вам кадр, — сказал ей подполковник, — добровольно на фронт просится».

Женщина глянула на меня материнскими глазами и сказала, что если я не боюсь никакой работы, она возьмет меня на свой поезд. «Какой поезд?» — спросила я. «Санитарный». Я подумала, что поездом можно добраться до фронта, и сказала, что не боюсь никакой работы. Мне дали военное обмундирование и красноармейскую книжку.

Наш поезд прибыл в Москву, где его загнали в какой-то тупик, сказали «для санобработки». Майору нужно было по делам псехать в санитарное управление, она взяла с собой и меня, сказала, что могу понадобиться. Я думаю, что она просто боялась одна ездить по военной Москве. А может быть, не доверяла мне, опасалась, что сбегу на фронт.

У майора дела в сануправлении затянулись, а меня зачисли-

ли в команду девушек, поселили в казарме, стали учить военному делу: ходить в строю, владеть винтовкой, гранатой, пистолетом, малой саперной лопатой, противогазом, телефонным аппаратом, оказывать первую помощь раненому. Словом, всему понемногу. У нас было вроде учебного пункта: одних девушек куда-то отправляли, других принимали. Дошла очередь и до меня, привезли в полк, а здесь назначили в хозяйственный взвод. Я прошусь в разведку, а меня — стирать-чинить белье.

* * *

— Кето, срочно в штаб!

Она накинула на плечи бушлат, напялила ушанку и — бегом за связным.

Перед командиром полка Харламовым сидел самонадеянный гитлеровский офицер. Он бросил беглый взгляд на вошедшую и отвернулся. Фашист молчал, как пень у дороги.

— Помогите допросить пленного, — сказал Харламов.

Кето задала гитлеровцу вопрос на чистейшем берлинском диалекте.

Пленный нехотя повернулся к ней — уж больно вид у нее был несолидный: бушлат, шапка, валенки.

Однако вопросы следовали один за другим, и вот ведь чудо: гитлеровец разговорился...

— Откуда у фройлен такое знание немецкого языка? Случайно, не немка ли она? — прежде всего поинтересовался он.

— Здесь не берлинское гестапо, здесь вопросы задаю я, — перебила Кето властным тоном.

После долгого молчания фашист наконец «развязал язык» и дал много ценных сведений.

После допроса пленного Харламов сказал Модебадзе:

— Предлагаю вам, Кето, должность переводчицы — в этом, я вижу, ваше призвание, вы артистически провели допрос.

Кето воспользовалась предложением:

— Согласна стать переводчицей! Однако при одном условии.

— Какие еще условия на фронте! — возмутился Харламов. — Здесь одно условие: выполнять приказ.

— Товарищ капитан, я не прошу для себя особых благ, не ищу наград. — настойчиво продолжала Кето. — Я пошла на фронт добровольно и настаиваю, чтобы меня перевели в разведку.

— Да поймите же вы наконец: разведка — дело не женское, — рассердился Харламов.

— Поймите и меня, товарищ капитан: я видела, как фашисты маршировали по улицам Берлина, как жгли костры из книг, как



16.03.59
818-141033

арестовывали коммунистов. Лишили мою духовную наставницу немецкую художницу Кете Кольвиц возможности творить, — дрожащим голосом продолжала Кето. — Я ненавижу фашистов и хочу сражаться, а не сидеть на КП и допрашивать пленных.

Харламов развел руками и сказал примирительно:

— Хорошо, я посоветуюсь с генералом Лебеденко.

Разговор с командиром дивизии состоялся в тот же день, и Модебадзе перевели в полковую разведку, но предупредили, чтобы поберегли девушку.

Кето рвалась в бой...

* * *

В начале марта 1943 года дивизию перебросили в Донбасс.

В апреле, когда фашисты начали наступление с целью сбросить полк с плацдарма на правом берегу Северного Донца, Кето вместе с другими разведчиками прикрывала командный пункт. Титлеровцы рвались сюда с особенным ожесточением, им хотелось поскорее уничтожить или пленить мозг пслка.

Кето видела, как погиб фельдшер, поблизости не осталось ни одного санитаря, раненые остались без медицинской помощи. Она подползла к убитому, сняла сумку с медикаментами и начала перевязывать раненых. Перевязжет, перетащит к переправе, отправит на левый берег реки, а сама ползет обратно на поле боя. За эти дни она спасла жизнь 28 воинам полка.

О подвиге Кето доложили командиру дивизии.

— Расскажи, дочка, как сумела спасти жизнь стольким раненым? — одобряюще и заинтересованно спросил генерал.

— Как сумела? — переспросила Кето. — Кого на плащ-палатке выволокла, кого на себе, а кому лишь плечо подставляла.

— Страшно было?

— Страшно? — Кето подумала и сказала: — Не помню. Думала о раненых. О страхе не вспоминала. Теперь, пожалуй, страшновато.

— Молодец, Кето! — похвалил генерал. — Награждаем тебя медалью «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу! — отчеканила взволнованная Кето.

— А вторая награда тебе — отныне ты будешь сержантом и перейдешь служить в разведроту дивизии. — Комдив старался уберечь ее — дивизионная разведка находится подальше от полковой, стало быть, и риска поменьше, чем на передовой.

В июле рота получила приказ начальника разведки майора Шорохова: выявить силы противника в районе села Хрестище.



Командир роты старший лейтенант Ищенко решил вести разведчиков. Кето напросилась на задание: вдруг удастся допросить пленного? Или перевязать раненого?

Разведчики выяснили, что в Хрестище фашисты создали мощный опорный пункт.

— Лучше всего Хрестище обойти и блокировать, и тогда окруженные гитлеровцы вынуждены будут сложить оружие, — сказала Модебадзе командиру роты.

Выполнить задуманное, однако, не успели: враг обнаружил разведчиков и отрезал им пути отхода. Пришлось драться в окружении. Вскоре тяжело ранило командира роты Ищенко. Модебадзе приняла командование. Где перебежками, где ползком, от рубежа к рубежу повела она разведчиков.

Кольцо окружения стягивалось все плотнее, все труднее становилось маневрировать. Кето поняла: только дружной атакой можно разорвать это кольцо. И она передала приказ:

— Приготовиться к атаке!.. Зарядить автоматы!.. Гранаты — к бою! — Потом вскочила на ноги. — Вперед, за мной!

Окружение прорвано, разведчики вышли к своим.

Кето ранило в грудь. Санитары перевязали ее и увезли в медсанбат, а, оттуда Кето была отправлена в госпиталь.

* * *

Выписавшись из госпиталя в сентябре 1943 года, Кето вернулась на фронт, который к тому времени передвинулся к Днепру, к степям Запорожья.

В городских комендатурах, на пересыльных пунктах Кето наводила справки о месторасположении своей дивизии, искала попутчиков и настойчиво передвигалась на запад.

В городе, в котором располагался продовольственный пункт, она увидела колонну пленных гитлеровцев. Сюда подвезли походную кухню, и повар в белом колпаке разливал пленным горячий борщ.

Кето с несколькими попутчиками подошла к колонне, стала разглядывать пленных и прислушиваться к их разговорам. Одни гитлеровцы нахваливали украинский борщ, другие — благодарили русских за хлеб, кое-кто проклинал Гитлера, иные цинично прохаживались по адресу проходивших девушек.

—Замолчите, болваны! — вдруг вмешался, повысив голос, пленный офицер и начал ругать тех, кто хвалил украинский борщ, благодарил русских за хлеб и проклинал Гитлера. Пленные притихли, покорно слушая офицера.

Кето не сдержалась.



— Немцы, одумайтесь! Перестаньте слушать фашистских палачей!.. Вы были сынами великой нации, Гитлер превратил пушечное мясо германских империалистов и погнал на восток убивать русских — таких же рабочих и крестьян, как вы сами...

Пленные перестали есть, застыли, слушая девушку.

Кето стала рассказывать о двух Германиях: кайзера Вильгельма и Карла Либкнехта и Розы Люксембург, Гитлера и Клары Цеткин и Эрнста Тельмана, Круппа и рабочих Гамбурга и Дюссельдорфа и закончила свою речь стихами Гейне и Гете...

— Молодец, сержант! — услышала Кето за спиной. Повернувшись, она увидела улыбающееся лицо незнакомого майора.

После дружеской беседы он предложил Кето стать агитатором. Она согласилась. Каждый день по радиорупору она обращалась к немецким солдатам, открывала одураченным фашистами немцам, поверившим в легкость похода на восток, истинное лицо Германии и немецкой нации, подарившей миру столько выдающихся мыслителей, философов, деятелей культуры.

Вскоре ей присвоили воинское звание младшего лейтенанта.

Под Новой Одессой на нашу сторону перешла рота немецких солдат. Возможно, это был результат агитационной работы Кето Модебадзе.

Но она снова стала рваться в бой.

Форсировав Днестр, наши войска подошли к столице Молдавии — Кишиневу. Младший лейтенант Кето Модебадзе со своим взводом прикрывала командный пункт... Отбивала атаку за атакой. Третью... Четвертую... Пятую... Восемь атак! Сколько же можно? Где предел человеческим силам?

Девятая атака... Вскочив на бруствер окопа — легкая, молодая, красивая, — подобно Жанне Д'Арк, Кето воскликнула:

— Товарищи! Нам ли, пришедшим от стен Москвы и берегов Волги, бояться фашистов?! Нам ли склонять головы перед гитлеровскими выкормышами?! За мной, вперед!!!

— Урра-а-а!!! — пронеслось по полю.

Кето метнула во вражеский пулемет гранату. Потом — другую.

— Ура! Победа!

Но вдруг автоматная очередь подкосила Кето. Ее подхватили товарищи, понесли к своим...

Это произошло в Ново-Аненском районе Молдавии, у деревни Шерпены, в 1944 году, когда Кетеван Карповне Модебадзе было всего девятнадцать лет.



Галактион ПАЙЧАДЗЕ,
ответственный секретарь
Координационного совета
по военно-патриотическому
воспитанию при ЦК КП
Грузии.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ и интернациональное воспитание народа едины и неразрывны. Пожалуй, нигде так ярко не раскрывается диалектика патриотического и интернационального, как в священном деле защиты социалистического Отечества.

В. И. Ленин указывал, что, защищая Советскую страну, рабочий класс выполняет свой интернациональный долг.

«Мы и впредь призваны укреплять единство армии и народа на основе патриотизма и социалистического интернационализма. Это особенно важно для нас, так как республика граничит с одной из стран НАТО. Необходимо постоянно повышать политическую бдительность масс, беречь как зеницу ока завоевания революции».

Первый секретарь ЦК КП Грузии, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Э. А. Шезарднадзе.

«В Грузии при партийных комитетах действуют координационные советы по интернациональному и военно-патриотическому воспитанию. Здесь совместно с политорганами работа ведется на основе перспективных планов».

(Из выступления начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР Министерства обороны СССР А. А. Епишева на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС).

Еще в битве за власть Советов был создан боевой интернациональный союз советских республик — прочное единение всех народов, освобожденных пролетарской революцией.

Вооруженные Силы СССР, как армия нового социалистического типа, с первых же дней своего рождения строились и развивались на незыблемых принципах дружбы народов и пролетарского интернационализма.

Немеркнущим всемирно-историческим примером патриотического и интернационального подвига советского народа и его Вооруженных Сил является разгром ударных сил мирового империализма и наша величайшая победа в минувшей войне.

И теперь, когда этого требуют интересы защиты Родины, мира и социализма, наш советский воин поступает как бескорыстный и мужественный патриот, интернационалист.

Не случайно прогрессивные люди всего мира Советскую Армию справедливо называют надеждой человечества.

Июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС огромное внимание уделил военно-патриотическому воспитанию советских людей на современном этапе, ленинскому положению о неразрывном единстве задач строительства коммунизма и защиты социалистических завоеваний от посягательств империализма.

На Пленуме было отмечено, что мы и впредь будем делать все необходимое для обеспечения безопасности своей страны, наших друзей и союзников, будем повышать боевую мощь Советских Вооруженных Сил — могучего фактора сдерживания агрессивных устремлений империалистической реакции.

«Прививать любовь к Вооруженным Силам СССР, укреплять готовность к защите социалистической Родины. Уделять неослабное внимание всем социальным группам и возрастным категориям молодежи — рабочей и колхозной, учащейся и армейской...» — вот та почетная, благородная и гуманная задача, которую поставил Пленум ЦК КПСС перед комсомолом, педагогами, родителями, славными ветеранами партии, войны и труда.

«Быть патриотом сегодня — значит неустанно укреплять экономический, оборонный потенциал нашей Родины, повышать свою готовность защищать мир от любых посягательств империалистического агрессора, добросовестно относиться к воинским обязанностям» (К. У. Черненко).

XIV пленум ЦК КП Грузии отметил, что у нас ^{создана} достаточно эффективная система военно-патриотического и интернационального воспитания, координирующая ^{усилия} партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций, армейских политических органов, военкоматов и штабов гражданской обороны, оборонных обществ, средств массовой информации, творческих союзов, культпросветучреждений, общества «Знание». На этом пленуме говорилось и о значительной работе, которую проводят командование и политорганы Краснознаменных Закавказского военного и Пограничного округов. Говорилось и о результативности совместно проводимых военно-патриотических мероприятий, о более высоком уровне подготовки призывного контингента и увеличении числа желающих поступать в высшие военно-учебные заведения страны.

Содержание, формы и методы работы по военно-патриотическому и интернациональному воспитанию требуют постоянного совершенствования.

Прежде всего следует сказать о деятельности Координационного совета при ЦК КП Грузии, который разработал перспективный план совместных с КЗакВО и КЗакПО военно-патриотических мероприятий, рассмотренный и одобренный Бюро ЦК; были образованы секции по важнейшим направлениям военно-патриотического и интернационального воспитания.

Секция, занимающаяся вопросами воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР (руководитель — заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КП Грузии т. Н. Эндаладзе), регулярно следит за состоянием военно-патриотической работы с призывной молодежью и подготовки к поступлению ее в военные училища страны. При этом практикуется изучение конкретных вопросов на местах совместно с республиканским военным комиссариатом, Министерством просвещения, ЦК ЛКСМ и ЦК ДОСААФ Грузии. Уже налицо положительные тенденции.

Интересные мероприятия в деле реализации совместного координационного плана проводит секция по культурно-шефским и творческим связям с войсками КЗакВО и КЗакПО (председатель — заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии т. Н. Ш. Джанберидзе).

Как было отмечено на XIV пленуме ЦК КП Грузии, нам всем «небезразлично, с какими чувствами, с каким настроением уедут из Грузии демобилизованные воины, какие впечат-

ления о нашем городе, о нашей республике увезут они с собой. Нам надо и впредь постоянно исходить из того, что армия и народ — это один, единый организм» (Э. А. Шеварднадзе).

Нельзя не сказать об организованной недавно по инициативе этой комиссии теплой встрече с воинами совместно с Политотделом Пограничного округа. В столицу республики были приглашены отличники несения пограничной службы. В Тбилиси их приняли как самых дорогих гостей. С большим интересом посмотрели достопримечательности города. Воины посетили Музей дружбы народов, посмотрели экспонаты материальной и духовной культуры Грузии в Музее искусств, исторический документ подписания дружественного Георгиевского трактата.

Весьма интересно и содержательно прошла творческая встреча съемочной группы киностудии «Грузия-фильм» с руководящим составом Политуправления и штаба КЗакВО.

Народный артист СССР Резо Чхеидзе рассказал о творческих планах коллектива «Грузия-фильм», был показан также новый художественный героико-патриотический фильм «Не все кометы гаснут», посвященный 40-летию битвы за Кавказ (автор сценария — Сулико Жгенти, режиссер-постановщик — Деви Абашидзе, оператор — Игорь Амасийский, композитор — Джансуг Кахидзе, исполнитель главной роли — Тенгиз Арчвадзе).

Культурно-шефская работа, проводимая в республике под девизом «Деятели литературы и искусства, ученые Грузии — воинам Закавказья», республиканской культурно-шефской комиссией и профсоюзом работников культуры отмечена, как одна из лучших в Союзе, переходящим Красным Знаменем Союза журналистов СССР. Особенно активно работают Союз композиторов Грузии, коллектив русского драматического театра им. А. С. Грибоедова.

Нельзя не вспомнить о проведенной совместно с политорганами встрече деятелей литературы и искусства Грузии с командованием и идеологическим активом КЗакВО и КЗакПО, где по-деловому говорили о путях активизации интернационального и военно-патриотического воспитания советских людей средствами литературы и искусства. Ее участников познакомили с образцами боевой техники, с учебой и жизнью воинов-закавказцев.

Также большой резонанс и интерес вызвала совместно проведенная конференция, проходившая под девизом «За серд-

ца и умы молодого поколения». Ее целью была согласованная деятельность органов просвещения, военных комсомольских и оборонно-массовых организаций, направленная на повышение эффективности военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки учащихся.

Одной из важнейших задач Координационного совета и его секций является содействие развитию культурно-шефской работы с войнами Закавказья, расширению издания военно-патриотической и военно-исторической литературы, отражающей героическое прошлое и настоящее советского народа и его Вооруженных Сил.

Но на заседаниях секций Координационного совета было отмечено, что пока еще мало выходит героико-патриотической литературы, художественных произведений о ратной доблести народа, о защитниках южных рубежей Родины — воинах Закавказья. Об этом говорилось и на XIV пленуме ЦК КП Грузии. В газетах и литературно-художественных журналах военно-патриотическая тема пока еще освещается недостаточно и несистематически.

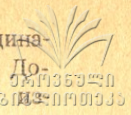
Как нам кажется, очень поучителен в этом смысле опыт всесоюзной «Литературной газеты», где регулярно печатаются произведения, посвященные героико-патриотическому воспитанию, и боевая публицистика, чего нельзя сказать об очень популярной у нас в республике газете «Литературули Сакартвело».

Разве можно забыть о влиянии созданных в предвоенные годы замечательных стихотворений «Идея» Галактиона Табидзе или «Крцанисские маки» Ладо Асатиани, воспламенивших патриотические и интернационалистские чувства советских людей своим призывом к защите социалистического Отечества. Мы прекрасно знаем, что в Великой Отечественной войне мы победили благодаря тому, что наш народ оказался силен духом и был воспитан и сформирован на произведениях советской литературы предвоенных лет. Сегодня задача — продолжать эту традицию в духе требований июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, XIV пленума ЦК КП Грузии.

Тема минувшей войны, героизм народа в борьбе с гитлеровским фашизмом — одна из ведущих в искусстве социалистического реализма.

В арсенале средств массовой пропаганды по военно-патриотическому воспитанию безусловно имеются неиспользованные резервы.

Сейчас налаживается выпуск тематической литературы



«Летопись боевой славы народа». При содействии Координационного совета военно-научное общество при Тбилисском полке офицеров КЗакВО совместно с Госкомиздатом СССР издали сборники воспоминаний активных участников минувшей войны. Сборники получили весьма положительные оценки компетентных всесоюзных и местных органов и вызвали большой интерес среди массового читателя. Это серии книг «В боях за Родину», «По дорогам войны», «На страже Родины» и другие, выпущенные на грузинском и русском языках и посвященные 60-летию Советской Грузии, КЗакВО и КЗакПО, образованию СССР, 40-летию исторической победы в минувшей войне. Они представляют большую ценность как страницы героической истории народа. Но тиражи этих книг настолько малы (сборник «На страже Родины» вышел тиражом только 3 тысячи экземпляров), что их не хватает даже для обеспечения библиотек и других культпросветучреждений, не говоря уже о школах и других учебных заведениях.

Недавно в городе на берегу Волги состоялось торжественное открытие великолепного произведения искусства — художественной панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Здесь, где 40 лет тому назад развернулось величайшее в истории второй мировой войны Сталинградское сражение, собрались писатели из всех союзных республик и братских стран социализма. Состоялась Всесоюзная творческая конференция. На ней шла речь о том, как в свете требований XXVI съезда партии тема защиты социалистической Родины отражается в художественных произведениях, о роли и задачах писателя в воспитании патриотов-интернационалистов.

Эти и другие актуальные проблемы военно-патриотического и интернационального воспитания в свете современных требований партии были по-деловому рассмотрены на недавнем заседании Координационного совета при ЦК КП Грузии, где была заслушана содержательная, интересная информация члена Военного совета — начальника Политуправления КЗакВО генерал-лейтенанта А. И. Ширинкина. В обсуждении приняли участие и внесли ценные предложения начальник Политотдела КЗакПО полковник Г. А. Куц, секретарь Союза писателей Грузии, член-корреспондент Академии наук СССР, ветеран Советской Армии и войны писатель Г. Ш. Цицишвили, председатель Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию Н. А. Попхадзе, заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК КП Грузии А. П. Сакварелидзе, за-

ведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Ш. Джанберидзе и др.

Итоги целеустремленной работы всех участников совета подвел его председатель, секретарь ЦК КП Грузии Г. Н. Енукидзе.

Особое внимание было уделено необходимости усилить пропаганду марксистско-ленинского учения о войне и мире, защиты социалистического Отечества, повышения политической бдительности у советских людей.

Были конкретизированы вопросы дальнейшего совершенствования контактов, тесной связи партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций, творческих союзов, культпросветучреждений, общества «Знание» с войсковыми частями и пограничными формированиями Краснознаменных Закавказских военного и пограничного округов.

Как было отмечено на заседании, в настоящее время в деле повышения морально-политической, психологической и классовой закалки молодежи по подготовке к службе в Советской Армии и поступлению в военные училища все большее значение приобретает авангардная роль коммунистов и руководящих кадров, немеркнувшие примеры ветеранов.

Как было указано на июньском (1983 г.) и февральском (1984 г.) Пленумах партии, главный вопрос наших дней — это вопрос о войне и мире.

Учитывая особенности нынешнего периода, когда империалистическая реакция во главе с правящей верхушкой США, вынашивая бредовые планы мирового господства, ведет оголтелую психологическую войну против нашей Родины и других стран социализма, военно-патриотическое воспитание трудящихся, гражданской и армейской молодежи приобретает решающее значение во всей идеологической и политической работе.



„ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ“

ВЫШЛО в свет учебное пособие по общему языкознанию доктора Т. Н. Шадури.*

Это уже третье по счету пособие по языкознанию, изданное в Грузии (не считая книги профессора В. И. Кодухова «Общее языкознание», переведенной на грузинский язык и изданной в Тбилиси).

Рецензируемая книга интересна по многим причинам. Являясь оригинальным руководством, она не только облегчает студенту понимание фактов и явлений языкознания, но и учит его научному мышлению. Т. Н. Шадури не обходит стороной актуальные вопросы и поднимает ряд проблем, которые в других руководствах либо вообще отсутствуют, либо представлены вскользь, в виде примечаний.

Данное учебное пособие ставит целью помочь студентам в общих чертах ознакомиться с историей ста-

новления науки о языке с основными направлениями языкознания, с проблемами и методами современной лингвистики. Интересно, что в книге Т. Н. Шадури приводятся сведения по истории изучения грузинского языка, используются труды грузинских лингвистов, дается хорошо подобранный иллюстративный материал из грузинского и русского языков и даже некоторые русско - грузинские языковые параллели.

Работа состоит из трех частей: 1. Из истории науки о языке, 2. Социолингвистика. Вопросы социологии языка и 3. Сравнительное языкознание.

В первой части говорится о предмете и задачах языкознания. Автор рассматривает науку о языке до XIX века. Эту главу можно смело назвать историей лингвистического учения в миниатюре. Особо выделяет автор первый академический толковый словарь итальянского языка — «Словарь академии Круска» (1612), который издавался всего пять раз (последнее издание вышло во Флоренции в 1863 году). Анализируя путь, пройденный языкознанием, Т. Н. Шадури делает вывод: «Таким образом, в начале XIX века утверждается сравнительное языкознание, сравнительный метод, и развивается философия языка, нашедшая свое наиболее яркое выражение в трудах В. Гумбольдта» (стр. 19). И действительно, фундамент научного изучения языка был заложен тогда, когда путем сравнительно - исторического метода стали изу-

* Т. Н. Шадури. Общее языкознание. «Ганатлеба», Тбилиси, 1983 (на русск. яз.).

чать родственные языки. В. Гумбольдт создал основы классической лингвистики и проект теоретического построения науки о языке. Он дал нам классическую формулу: «Язык — энергия, а не эргон». Гумбольдт был первым автором мощной динамической теории языка, суть которой заложена в вышеприведенной формуле. Высказано мнение, принятое гумбольдтологией, что «общее языкознание» и «филология языка» в учении Гумбольдта — это два термина, обозначающие одно и то же содержание (Г. Рамишвили, Вопросы энергетической теории языка. Тб., 1978, стр. 26 — 27). В рецензируемой книге говорится о лингвистической теории Августа Шлейхера, ее натурализме, логико-грамматическом и психологическом направлениях, неограмматизме. Не забывает автор и русских неограмматистов (Фортунатова, Бодуэна де Куртэне), особо говорит о философских основах этого течения (т. н. позитивизма).

Отдельная глава посвящена основным направлениям современного языкознания. Проанализированы взгляды на сущность языка, систему его знаков, проблему синхронии-диахронии представителей лингвистических школ Москвы (Фортунатов), Казани (Бодуэн де Куртэне) и Женева (Фердинанд де Соссюр). В ней же рассмотрена и французская социологическая школа — Парижская лингвистическая школа (А. Мейе, Ж. Вандриес, М. Граммон, М. Коэн и др.).

Особо говорится в книге о Г. Шухардте и его школе «Слова и вещи». Т. Н. Шадури несомненно права, ког-

да отмечает: «После опубликования труда Ф. де Соссюра перед лингвистами возникла альтернатива: историко-сравнительное (генетическое) или описательное изучение языка. Г. Шухардт не колебался в выборе. Он считал подлинным языкознанием лишь генетический подход при исследовании языковых явлений» (стр. 98). Довольно полно представлен автором журнал Рудольфа Мeringера «Слово и вещь».

Первая часть труда заканчивается анализом советского языкознания.

Вторая часть книги посвящена проблеме социолингвистики. Язык признан общественным явлением. Язык — один из признаков народа, нации. Название народа (этноним), как правило, совпадает с названием языка. Единственное, что отличает народы, это язык... Тут ведется специальный разговор о языковых контактах, о видах интенференции, о лингвистических и психологических основах двуязычия и др. (Подробнее см. труд энциклопедического характера известного американского языковеда У. Вайнрайха «Языковые контакты», перевод с английского, Киев, 1979).

Хорошо продуманы и коротко изложены вопросы: методы социолингвистики, проблемы психологии речи, вопрос языкового знака, внутренняя структура языка, учение о фонеме, понятие о фонологической системе. Заслуживают большого внимания суждения автора о сравнительном анализе фонетических систем русского и грузинского языков. Это одна из лучших подглав, в ко-

торой проявилось глубокое знание Т. Н. Шадури как грузинского, так и русского языков. Интересны рассуждения о фонотактике.

Автор отдельно останавливается на грамматике. Выделяет исследуемые объекты морфологии и синтаксиса, характеризует грамматическую форму, грамматическое значение, грамматическую категорию, взаимоотношения формы и содержания, грамматическую систему языка; главный вопрос здесь — размежевание структуры и функции языка; необходимо изучение обеих сторон, но недопустимо их смешивание. Важнейшей задачей описательного языкознания является решение вопроса структуры, поскольку языки отличаются друг от друга в основном структурой. Морфология и синтаксис как раз и занимаются изучением структуры языка. «Структурный анализ должен освободиться от изучения значения слова (это дело учения о функциях!)» — учит нас академик Арн. Чикобава.

Т. Н. Шадури рассматривает понятия лексико-семантической системы и лексемы. Множество языковедческих структурных терминов проиллюстрировано хорошо подобранными примерами.

Третья часть полностью посвящена сравнительному языкознанию. Автор анализирует взгляды компаративистов — Р. Раска, Фр. Боппа, И. Гримма, И. Добровского, Ал. Востокова и говорит об их вкладе в развитие науки о языке. Не забыто и имя М. В. Ломоносова. Оценены по достоинству заслуги А. Шлейхера в

вопросах реконструкции праформ индоевропейского языка; охарактеризована теория волн И. Шмидта, в которой по-новому рассмотрен вопрос о взаимонаправленности индоевропейских языков. Говоря о заслуге Антуана Мейе в деле сравнительно-исторического изучения языков, автор затрагивает проблему синхронно-диахронического изучения языков.

Большое место отводится в книге вопросам типологического изучения языков. Хорошо проанализирован вопрос языковых универсалиев, за чем непосредственно следует язык — эталон. Это тот язык, который служит образцом, примером при описании и характеристике различных языков. Вместе с этим рассмотрены теоретические и практические вопросы типологической классификации языков. На передний план выдвинута многоступенчатая типологическая классификация Е. Сепира и методика типологического изучения языков. Здесь же дается и значение типологии.

Значительное место уделено в труде лингвистической географии (ареальной лингвистике).

В последней главе учебного пособия говорится о возникновении и развитии описательного языкознания, о методике синхронного описания языка, о проблемах фонологии, морфологии, дистрибуционной и трансформационной методики. Широко представлены принципы Хомского о порождающей грамматике и вопросы структурной семантики (в настоящее время некоторые исследователи взгляды Хом-

ского считают историческим курьезом). В последних параграфах учебного пособия рассмотрены вопросы полей, синтаксической семантики, трансформационной методики размежевания значения слова, компонентного анализа, применения в языкознании гипотетично - дедукционного и количественного методов доказательства, информационно - вероятностных теорий и количественного метода. К книге приложен список рекомендуемой литературы.

Таковы структура и методика изложения книги Т. Н. Шадури «Общее языкознание». Надо отметить, что автор хорошо разбирается во всех тонкостях исследуемого объекта, отлично знает специальную литературу и добросовестно использует ее. В книге хорошо представлены различного вида графические иллюстрации — плакаты, таблицы, схемы, способствующие усвоению материала.

Книга Т. Н. Шадури — серьезный труд, который, несомненно, будет правильно ориентировать студентов и аспирантов в сложных проблемах общего языкознания. Она имеет большое теоретическое и практическое значение. Язык ее прост, ясен и лаконичен. Помимо чисто учебных задач труд Т. Н. Шадури преследует цель разработать некоторые теоретические вопросы. Ряд лингвистических проблем автор анализирует со своих собственных позиций.

Сам характер учебного пособия определило использование таких лингвистических понятий, которые выдержали испытание временем и практикой и стали безуслов-

ным достоянием науки. Книга отображает как суть лингвистики, так и ее проблематику и дальнейшие перспективы. Выводы автора достоверны и убедительны.

Опираясь на богатую многоязычную специальную литературу и многочисленные руководства по общему языкознанию, оказывающие хорошую службу нашим вузам, автор создает весьма полезное учебное пособие, которое, по нашему мнению, займет достойное место в ряду аналогичных книг. Тут же надо отметить, что в труде Т. Н. Шадури соблюдено требование В. И. Ленина о том, что «главная задача всякого руководства: дать основные понятия по излагаемому предмету и указать, в каком направлении следует изучать его подробнее и почему важно такое изучение» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 40).

Есть у нас и несколько замечаний. Было бы хорошо ввести в учебное пособие т. н. закон Вернера, а также закон Фортунатова — де Соссюра.

В третьей части книги, где речь идет о зарождении и развитии сравнительного языкознания (стр. 302 — 333), среди его пионеров надо было упомянуть и венгерского филолога С. Гярмати (1751 — 1830), который сравнительным методом исследовал материалы финно - угорских языков.

Было бы желательно в конце каждой части привести список литературы, дополнительные материалы, что еще более заинтересовало бы студентов и углубило бы их знания в этой области.

Известно, что академик Арн. Чикобава сам отмечал

близость своих взглядов к школе Фортунатова, однако наряду с этим у них были и принципиальные споры, особенно по вопросам синтаксиса. Упоминание об этом в учебном пособии еще более повысило бы интерес к данному вопросу.

В книге нет специального параграфа, определяющего взаимоотношения фонетики и фонологии, теорию фонетического символизма, концепцию языковых связей, критику палеонтологического метода элементарного анализа Н. Я. Марра. Интересно знать мнение автора по вопросам статуса математической

лингвистики, о концепции языковых связей...

Однако все эти замечания не снижают достоинств труда, но желательно, чтобы они были учтены при переиздании книги.

Издательство «Ганатлеба» сделало хорошее дело, выпустив в свет книгу Т. Н. Шадури «Общее языкознание». Минвузом ГССР она утверждена в качестве учебного пособия и вскоре наверняка станет настольной книгой нашего студенчества.

Рафаил ШАМЕЛАШВИЛИ,
доктор филологических наук

ГЛОТОН ИСТИНЫ

ЕЩЕ Достоевский поведал миру о том, что истина, не окрыленная нежностью и добром, тоской по воплощенной красоте, неправедна и иллюзорна. Но даже если свет, добро и красота сочлются в едином потоке, обнаруживая очевидность и непрерываемость своих проявлений, то это еще не значит, что чью-то жажду-

Таиф Аджба. Вторая жизнь, Перевод с абхазского Вячеслава Куприянова, Москва, «Советский писатель», 1983.

щую душу потрясет чудесное откровение Правды. Быть добрым и нежным в принципе может каждый, чувствовать и слушать музыку прекрасного умеют далеко не все, но многие, а вот таинство прозрения всегда уникально во времени и пространстве. И когда оно свершается, озаренный дух познает страшную и величественную истину не только о мире, но и о себе. И о себе в первую очередь.

Листаешь книгу стихов Таифа Аджбы «Вторая жизнь», и постепенно возникает мысль о страдальческом правдоискательстве. Чувствуешь себя в роли летательного аппарата, который движется по вычисленной и начертанной траектории, порой, правда, непред-

виденно отклоняешься от курса, и это забавляет и радует тебя, и вдруг мощный гравитационный вихрь с наслаждением рушит все планы и расчеты, ненасытное жерло черной дыры засасывает тебя и выводит в странную и удивительную галактику второй жизни. Таких «роковых» точек на страницах сборника, скажем прямо, очень немного, однако через эти точки и пролегают подлинный, а не мнимый, путь поэтической мысли.

Стихотворение «Сумасшедший и цветы» — ключевое, в нем нашло выражение упорное самопреодоление, которым охвачен поэт. Поначалу перед нами просто искренний человек, одержимый банальной душеспасительной и проповеднической идеей:

Правды никто не выносит,
Но правде рот не заткнуть!

Каждый еще пожалеет,
Поймет, в чем был виноват,
Когда нас черт одолеет
И в черный спроведит ад!

И вдруг он застывает, охарактеризованный огнем цветенья. «Цветы лепестки раскрывают, встречая солнечный свет...» На человека нисходит озарение — он ощущает в себе силу, способность творить новые миры, воображенные и пригрезившиеся, но истинные и неподдельные в своей глубокой сущности. Будь моя воля, я бы озглавил эту притчу «Одержимый и цветы», либо же «Цветы и сумасшедший».

Герой стихотворения «Последняя улыбка» дарует миру самое сокровенное, то, что отстоял и сберег в испытаниях и бедах — улыбку, раскрыв тем самым тайну своего «я»:

Коснулась и улетела
Улыбка, которую он

Сберег от немощи тела,
От злого набега времени
Которую как заветный
Оставил он всем живым,
Прошедшую все испытания,
Все горести и страдания
И не угасую с ним.

Даже лучшие стихотворения характеризуются какой-то недоговоренностью, невыраженностью в слове. Реальность эмоций существует как бы не в самом стихе, ясном, прозрачном, открытом, а где-то за ним. Понимаю, что соприкасаюсь всего лишь с переводом, что в переводе поэтическое слово уже надломлено и предельно конкретно, что в оригинале оно, должно быть, целостней, органичней, объемней. И все же поэзия Т. Аджбы держится не на словесной изощренности, а на потаенном жесте, на мимике, на дыхании. Тут надо выходить за пределы словесных сфер и ловить движения, всматриваться, вслушиваться, вдумываться.

Свой поэтический принцип — внутренним взором проникать в сказочное обличье, сказочную версию любого события переживания — Г. Аджба формулирует без прикрас, несколько упрощенно:

Вся наша жизнь
Зависит
От воплощения
Сказок.
Мы должны быть красивы —
Как в сказке.

Полуфантастическое иной раз видение не затуманивает реальности, а обостряет до крайности ее проявление:

Ночи нет самой по себе,
Ночь — это день,
Сгоревший дотла.
Точно так же в любой
судьбе —

Если гибнет добро —
В этом сущность зла.
Опять же действие, процес



вместо умозрения, разведения
по полюсам абстрактных
нравственных категорий.

Когда же драгоценный опыт
постижения концентрируется в
поэтическую микропритчу (как,
скажем, в стихотворениях «Су-
масшедший и цветы» или «Ду-
ма о маленьком мальчике»),
тогда отчетливей прорисовы-
вается заветная мысль о вто-
рой жизни — духовной реаль-
ности, труднодоступной, быть
может, словесно невыразимой,
но необходимой.

Вторая жизнь — это беспре-
дельность и непостижимость
души и бытия, это искорка на
конце иглолки, запряженной в
яйцо, которое было в утке, а
утка в зайце и т. д., это ду-
ховный хронотоп, отвергший
законы смерти и организован-
ный по законам бессмертия,
это жизнь, обращенная к здо-
вьям, к народу, к Родине. В
первой жизни можно умножен-
но вспоминать о детстве, со-
ветовать на молодежь, с умным ви-
дом рассуждать о добре и
зле, резонерствовать. И боль-
шинство стихотворений сбор-
ника, на мой взгляд, не что
иное, как вынужденная дань
этой первой жизни. Вторая
жизнь — сфера прозрений,
дарство цельных и олноуд не
очевидных истин. Здесь день
может быть равен вечности,

здесь нет противостояния бо-
лодости и старости, здесь
жест выразительнее слова,
звук дороже смысла, здесь
мысль о смерти не вызывает
страха смерти:

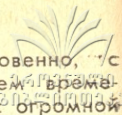
Небо, солнце и земля
Душу заберут мою.
Родники из хрусталя
Душу заберут мою.
Счастье и друзья мои
Душу заберут мою.
Ради света и любви
Свет души я отдаю.
Можешь, смерть,
Прийти ко мне:
Для злорадства твоего
Ни внутри
И ни вовне
Не оставлю
Ничего!

Лучшие стихотворения сбор-
ника свидетельствуют о том,
что поэт причастился к неис-
товой стихии истины, красоты
и добра, сделал шаг к прав-
де, увидел то, что может уви-
деть не каждый.

И нет сомнения в том, что,
преодолевая «самолюбивость,
сварливую, жадность» пер-
вой жизни, он причастился к
этому неповторимому, глубоко
личному миру и испытал глоток
истины о мире и о себе. И о
себе в первую очередь.

Игорь НАХШОН





- ДОКУМЕНТЫ
- ПИСЬМА
- ВОСПОМИНАНИЯ

РЯДОМ С ТИЦИАНОМ

ЧИТАТЕЛЬ «Литературной Грузии» знакомится сегодня с главами из прекрасной книги воспоминаний. Автор ее — Нина Александровна Макашвили-Табидзе. Память моя хранит облик этой удивительной грузинской женщины. Она была мужественна и сильна духом, как Отарова вдова, и в то же время — человеком добрым и сердечным.

Трудная судьба не сломила ее, она была для нас олицетворением верности Тициану Табидзе, олицетворением непревзойденной самоотверженности.

Когда Нина Александровна говорила о Тициане, она вся загоралась, исчезала грусть в глазах, зато нельзя было не заметить в них воли, гордости и... бесстрашия. Да, она оставляла впечатление человека несгибаемой воли. Все мы знали, как нелегко ей жилось.

Нина Александровна была искренним другом грузинских и русских писателей, и в этом нетрудно убедиться, прочитав ее воспоминания,

написанные вдохновенно, с глубоким пониманием времени и, что главное, с огромной любовью. Зоркий, внимательный глаз, объективность в оценке помогают ей оживить образы людей, которые близки и дороги нам.

А с каким волнением пишет она о знакомстве с Тицианом, о годах, когда завязалась ее дружба с «голубороговцами»! Сколько интересных событий воскрешают страницы воспоминаний, сколько интересных фактов, о которых мы до сих пор не знали!

Обо всем Нина Александровна Табидзе пишет в основном беспристрастно, хотя кое-где и ощущается некоторая субъективность, которой, что греха таить, грешит мемуарная литература.

Нину Александровну по праву можно отнести к числу тех представителей грузинской интеллигенции, которые в первой половине нашего столетия и позже способствовали сближению русских и грузинских писателей. До последних дней жизни она была верна этой миссии — и завещала ее своей семье. Андрей Белый и Сергей Есенин, затем Борис Пастернак, Николай Тихонов, Николай Заболоцкий, Павел Антокольский, Илья Эренбург, Виктор Гольцев и другие были частыми гостями в семье Тициана. Нина Александровна дружила с семьей Ованеса Туманяна, с поэтом Аветиком Исаакяном (Тициан Табидзе первым перевел на грузинский язык его поэму «Абу Ала Маари»).

С любовью делала Нина Александровна подстрочники стихов грузинских поэтов-романтиков Григола Орбелиани,



ტიციან და ნინა ტაბიძე.

Александра Чачвадзе и других, а также Тициана Табидзе и его друзей. Она была рядом с Тицианом всегда — и в жизни и в работе.

Друзья Тициана отвечали Нине Александровне взаимной симпатией и любовью. Я знаю, как ценили ее Георгий Леонидзе и Борис Пастернак, с какой нежностью относились они к ней и ее дочери Ните.

Тяжелая болезнь приковала ее к постели, но она мужественно переносила и это несчастье. Нина Александровна умерла 17 апреля 1965 года, было ей шестьдесят три года. Смерть ее глубокой скорбью отозвалась в сердцах почитателей таланта Т. Табидзе. В прощальном слове Георгий Леонидзе отметил, что в этот день грузинский народ хоро-

нил верного соратника Тициана Табидзе.

Книге воспоминаний Нина Александровна посвятила последние годы своей жизни, при Тициане она не написала ни строчки, она была всего лишь единомышленником, верным другом грузинских поэтов.

Бережно хранила она наследие Тициана, сберегла для потомства каждое написанное им стихотворение, передала в Литературный музей более пятисот писем — переписку Тициана и его собратьев по перу, которая, несомненно, представляет ценный материал для изучения русско-грузинских литературных взаимоотношений.

Реваз МАРГИАНИ

Нина ТАБИДЗЕ

РАДУГА

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ И ЕГО ДРУЗЬЯ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Я знала Алексея Толстого еще до того, как познакомилась с ним лично. Читатель может подумать, что я имею в виду его книги. Можно ведь знать писателя и не будучи с ним знакомым. Конечно, я знала его романы, была знакома с его героями, любила их — скитающихся по широким дорогам в гражданскую войну обездоленных сестер Дарью и Катеньку. Читала «Хромого барина». Но я не об этом хотела

561005020
5122-1110333

сказать. Дело в том, что еще до встречи с этим прекрасным русским писателем, до знакомства с ним, я уже знала, какой у него тембр голоса и как он говорит, как он двигается...

В нашем доме часто бывал Ираклий Андроников. Кто слышал его «устные рассказы» и знает его удивительное умение преображаться, тот поймет, конечно, как живо Ираклий представлял Алексея Толстого. После импровизаций Ираклия я знала, какие жесты и манеры у Алексея Толстого, как он держится среди близких знакомых и даже — какой у него голос. И поэтому, когда в 1934 году Толстой приехал в Тбилиси, встретившись с ним впервые, услышав первые слова его, я тотчас подумала, что он мой давнишний знакомый.

Алексей Толстой знал Тициана еще по Москве. Тициан много раз приглашал его в Грузию, и как только Толстой приехал в Тбилиси, то сразу направился к нам. Нас не оказалось дома, и Алексей Николаевич оставил у соседей записку, в которой сообщал Тициану, что приехал в Тбилиси и хочет встретиться с ним. Когда я вернулась домой, Тициан сказал мне:

— Нина, к нам приехал уважаемый гость. Сейчас же поезжай в гостиницу, поймай Алексея Николаевича и его жену, развлеки их, поведи их на выставку Фирдоуси, потом пригласи их на обед, а я к этому времени все устрою.

Я направилась в гостиницу. Я шла к ним, как к старым друзьям, и они меня очень просто и дружески встретили. Завязалась беседа. Толстой спросил, что нового в Тбилиси. Я вспомнила наказ Тициана и сказала, что в Грузинском государственном музее открылась юбилейная выставка Фирдоуси по случаю 100-летия со дня его рождения.

— Не хотите ли вы пойти на выставку?

Алексей Толстой сразу засуетился, и вскоре мы уже были в просторных залах музея. Толстой осматривал с большим интересом каждую мелочь. Во время осмотра я знакомила его с присутствующими на выставке грузинскими писателями, художниками и артистами. Толстой чувствовал себя как дома. Как я потом поняла, это была одна из удивительных черт его характера — быть повсюду как дома. Он совсем по-домашнему шутил со своими новыми знакомыми, беседовал с ними на разные темы и притом внимательнейшим образом рассматривал экспонаты. Скоро возле него образовалась толпа. В этой толпе я неожиданно увидела Тициана, он шел к нам и улыбался. Не забуду, с какой любовью и радостью встретил его Толстой!

Продолжаем осматривать выставку. С появлением Тициана разговор наконец коснулся поэта Фирдоуси и его «Шахнаме», заговорили о том, какое влияние «Шахнаме» оказала на писателей XX века. Говорили о грузинской поэзии и живописи, очень заинтересовавшей Алексея Толстого. Когда мы закончили знакомство с выставкой, Тициан пригласил Толстого и его жену в «Ориант».

Только теперь я поняла, о каком приготовлении говорил Тициан. Он, оказывается, успел пригласить на обед своих друзей — грузинских поэтов, режиссеров Сандро Ахметели и Кукури Патаридзе, артистов. В назначенный час все собрались в банкетном зале, только артистов не было видно. Вдруг приоткрылась дверь, кто-то заглянул в зал и скрылся, с шумом прихлопнув дверь. За дверями раздался смех. Это повторилось несколько раз. Это все, тем более смех за дверью, смутило всех. Рассерженный Тициан встал и рывком распахнул двери: перед ним стояли артисты, они не могли войти, так как их разбирал смех. В комнате слышался бас Алексея Толстого, а им все казалось, что это Ираклий Андроников читает свои «рассказы». Тициан пригласил их войти, и вскоре за столом зазвучали грузинские песни. Гости были в восторге. Не раз потом в Москве Алексей Толстой вспоминал эти прекрасные застольные песни. Когда песни смолкали, слышались шутки, начиналась беседа.

Зашел разговор о том, кто как работает. Алексей Толстой говорил о том, что писатель все время должен работать, днем и ночью, быть беспощадным к себе. Он за четыре-пять недель пишет пьесу, но лишь при условии непрерывной работы. Тут даже встреча с кем-нибудь пагубна — поток фантазии прерывается и сколько бы ты ни старался, уже не найти той нити, по которой ты шел.

— Да, за четыре-пять недель кончаю пьесу. Если в ней что-нибудь не готово, это выясняется уже в театре, на репетиции. Когда я пьесу пишу, у меня такое чувство, как будто я на лыжах прыгаю с горы и не знаю, когда приземлюсь, стану ли на ноги или так грохнусь, что костей не соберешь!.. Для романа требуется больше времени, и работа спокойнее, больше тишины, и много, много труда. Эту тяжелую, каторжную работу облегчает и делает радостней игра словами. Это огромное удовольствие, от которого забываешь даже усталость. Слова не просто льются, они — как искры, которые высекает кремь. Не бывает мертвых, ненужных слов; если слову найти свое место, оно оживает, начинает дышать.

Он говорил и о технике писательской работы, о том, что любит больше всего печатать на машинке, но черновик пишет всегда пером. Карандашом писать ненавидит. Замолчал, задумался, засмеялся.

— На свете больше всего преклоняюсь перед хорошей авторучкой, красть их готов, где бы они ни лежали... Если бы я жил в буржуазной стране, я открыл бы лавку, стал бы сам за прилавок и торговал авторучками...

Никогда не забуду этот вечер. Разговор был серьезный, и в шутках сквозила истина, было над чем задуматься, что запомнить.

На этом обеде от имени всех сидящих за столом я преподнесла Алексею Николаевичу наполненный водкой маленький рог в серебряной оправе. Когда он выпил, я попросила его, чтобы этот рог он оставил в память о днях, проведенных в Тбилиси. Когда, спустя некоторое время, я приехала в Детское село, то очень обрадовалась, увидев этот рог в рабочем кабинете Толстого, среди самых дорогих сувениров. Между прочим, в Тбилиси Алексей Толстой вспоминал, как он впервые приехал в Тифлис в 1915 году, как присутствовал на похоронах Акакия Церетели; он был в то время военным корреспондентом и ехал по Чорхскому ущелью, где шли ожесточенные бои между войсками Энзер-паши и русскими полками.

А на следующий день мы провожали Алексея Толстого в Западную Грузию. Билеты еще не были куплены, когда мы вышли на вокзал и Тициан заметил на путях вагон Георгия Кутателадзе, заместителя командующего армией Закавказского военного округа.

— Билеты уже не нужны, — сказал Тициан, — Алексей Николаевич поедет в этом вагоне.

Вскоре на перрон вышел Георгий Кутателадзе, высокий, представительный мужчина. Высокообразованный, обаятельный и отзывчивый человек. Тициан подвел к нему Алексея Толстого и познакомил их. Георгий Кутателадзе очень обрадовался знакомству и пригласил Толстого в свой вагон прежде, чем его попросил об этом Тициан.

Из Имеретии Алексей Николаевич вернулся через месяц. Какое перо сумеет описать то, что он рассказывал об этой поездке, восторженный и очарованный.

Георгий довез гостя до Цхалтубо, и там они расстались, но через три-четыре дня он повез Толстого в деревню Рико,



в Багдадском районе. Восторженно рассказывал Толстой, как был накрыт стол в марани, рядом с чури (зарытый в землю сосуд, в котором хранится вино). Хозяева проявили свое уважение к гостю и дали ему в руки лопату, чтобы он сам открыл чури.

Алексей Толстой впервые в жизни открывал чури, и делал он это с таким благоговением, как будто нашел сказочный клад.

Георгий Кутателадзе собрал всю деревню. Пришли и молодые и старики. И когда янтарное «Цоликаури» дало о себе знать, полились песни: «Маленькая возлюбленная», «Веселому хозяину», «Хелхави» и «Чари-Рама». Толстой был в восторге: что за страну он увидел!

Он говорил:

— Меня поразила красота этой деревни — вся долина Риони была перед глазами. А люди! Люди высокой культуры и большого сердца. Я узнал, что быть с ними — большая радость. Грузия — настоящее открытие для меня.

Потом вскрыли второе чури, там было вино «Цицка», пенящееся и шипучее. Когда это вино поднесли Толстому, он пригубил и сказал:

— Это — чудо! Что за нежное и воздушное вино. Вот стоит в стакане и кажется, что оно сейчас испарится, исчезнет, растворится в эфире.

Уже приученный к грузинскому столу и его традициям, Толстой поднял бокал за ту землю, на которой выросла эта лоза, за землю, где рождаются люди, подобные тем, которые сейчас его окружают..

Хозяева станцевали для гостя грузинский танец «Перхули». Толстой смотрел и сам пустился в пляс. Он целовался со всеми, и не было границ его радости.

Между прочим, в деревне Рико Толстому показали виноградник огрузинившегося француза Тиебо. Агронома Тиебо в то время уже не было в живых, но его лоза «Горг-Илион» еще росла — у учителя Георгия Ахвледиани огромная беседка была увита виноградом «Горг-Илион». Каждая кисть винограда весила два кило, а каждая виноградина была с чернослив.

Вернувшись из Имеретии, Толстой долго рассказывал о Георгии Кутателадзе, о его деревне. Ему не хватало слов, чтобы выразить свой восторг и свою любовь. Уезжая из Грузии, он уже на вокзале несметное число раз напоминал нам, что мы обязательно должны его навестить в Детском селе.

Зимой того же года мы действительно побывали в Детском селе. Алексей Толстой жил в бывшей даче балерины Синской. Нас было трое: Тициан, Иракий Андроников и я. Толстой повел нас в кабинет, и мы там долго беседовали. Хозяин держался просто, душевно, и каждое слово его западало в сердце, настолько оно было искренним. Он долго рассказывал нам, как он работает над романом и пьесой о Петре Первом. Меня удивила тогда беспощадность, которую этот замечательный мастер слова проявлял по отношению к своим творениям. Он рассказал, как Художественный театр поставил его пьесу и как ему его собственное произведение вдруг перестало нравиться.

— Когда я пересмотрел пьесу, мне все показалось фальшивым. Исправления не помогли бы. надо было все писать заново.

Он и написал пьесу вторично — и добился успеха. Это была блистательная победа таланта в соединении с неутомимым трудолюбием, без которого нет настоящего творчества.

Алексей Николаевич говорил спокойно, ни на кого не глядя, как будто бы говорил сам с собой.

Вскоре дачу заполнили гости. Пришли кинорежиссеры, артисты. Алексей Николаевич как-то вдруг изменился: вместо спокойного, уравновешенного собеседника перед нами был веселый хозяин, который готов для каждого найти нужный тон и нужное слово, — с одним он шутил, другого журил дружески, третьего обласкал. Создалась очень теплая атмосфера.

Алексей Николаевич рассказал массу интересных историй, в том числе — как он встретился с Гербертом Уэльсом, когда тот вторично посетил Советский Союз. У этих двух писателей было много общего, в частности их склонность к фантастическому жанру. Мир звезд и планет первыми посетили персонажи Герберта Уэльса и Алексея Толстого. Помните, как в «Аэлите» в годы гражданской войны на Марс полетели инженер Мстислав Лось и красноармеец Алексей Гусев, чтобы установить там Советскую власть? У них было с чем поговорить. Алексей Николаевич вспомнил, как он научил английского писателя настаивать водку на молодых побегах какого-то дерева.

Еще раз мы встретились с Алексеем Толстым в Москве, в гостинице «Метрополь». Алексей Николаевич только что прилетел самолетом из Ленинграда, чтобы присутствовать на похоронах Максима Горького. Он был потрясен этой смертью и сильно переживал. Он долго не мог произнести ни

слова, потом вспомнил, как любил Горький жизнь, красоту земли, и сказал:

— Наблюдали вы когда-нибудь с самолета рассвет на земле? Как фантастичны в это время земля и небо. Я видел это сегодня утром из окна самолета.

В этих словах прозвучала скорбь: влюбленный в мир и природу великий мастер русского слова никогда не увидит рассвет из окна самолета!..

Из «Метрополя» мы вместе с Алексеем Толстым пошли на улицу Воровского, в Союз писателей.

Алексея Николаевича я видела в последний раз у Всеволода Иванова, в Переделкино, в 1940 году. Там был и Борис Пастернак. Друзья предались воспоминаниям. Алексей Толстой вспоминал Волошина. Вдруг Пастернак вспомнил стихи Тициана:

...Внимательно слушает Балтрушайтис,
Волошин склонил свою львиную гриву.
Зима осеняет волшебною шалью
Шаири задумчивые переливы.
Сегодня по-русски Шота мы читаем...
Мы ждем тебя к нам по счастливой дороге,
И снова, как брата, тебя прославляем,
Подняв голубые задранные роги.

И потом они весь вечер говорили о Тициане...

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

В 1933 году приехал в Тбилиси Юрий Тынянов. Он позвонил к нам и спросил Тициана.

— Тициана нет, а кто его спрашивает?

Когда Тынянов назвал себя, я сказала, что очень прошу его приехать к нам, Тициан должен вернуться с минуты на минуту. Юрий Николаевич приехал.

Его лицо часто освещала добрая и теплая улыбка, обращали на себя внимание очень глубокие и проникновенные карие глаза.

Тынянов был поражен, когда после первых минут знакомства я вдруг сказала:

— Знаете, для того чтобы мы с вами могли стать дру-

зьями, я должна откровенно сказать вам о романе «Смерть Вазир-Мухтара» — что мне нравится в нем, а что нет!

Очевидно, Юрию Николаевичу не часто приходилось знакомиться с людьми таким образом. Он пожал плечами, улыбнулся и сказал:

— Я слушаю вас.

— Как же так, — без околичностей начала я, — вы пишете, что когда Грибоедов, бывая у Ахвердовой, проводил время среди очень интеллигентных и образованных людей, его денщик Грибов сидел с царевичами и пил с ними вино. Между прочим, грузинские царевичи были очень образованны, знали много языков; среди них были и известные писатели. Как можно приравнивать к ним денщика Грибоедова? И еще: вы говорите, что Грибоедов, посмотрев на мать Нины, подумал, что, вероятно, в старости Нина будет такой же. Не верю я в это! Не мог влюбленный Грибоедов думать, что в старости Нина будет некрасива!

Тынянов выслушал меня и сказал с улыбкой:

— Мне Тициан уже писал об этом, и я с ним вполне согласен!

С этого разговора и началась наша дружба.

Мне запомнилась поездка с Тыняновым и грузинскими писателями в Цивандали, в Дом-музей Александра Чавчавадзе. Осмотрели музей и парк, потом поехали в Телави. Там был большой базар. Потом все зашли в хинкальную. Почему-то принесли вилки. Юрий Николаевич проткнул вилкой хинкали, сок вытек, все засмеялись и с шутками стали учить Тынянова есть хинкали. Ната Вачнадзе показывала, как это нужно делать.

Как-то обед затянулся. Утомленный поездкой, Тынянов потихоньку встал из-за стола и пошел к обрыву, где возле старой, разрушенной церкви стояла скамейка, он прилег на скамейку и задремал. Между тем обед продолжался, и все, кому надоело сидеть за столом, вставали, пользуясь этим благовидным предлогом:

— Пойду понцу Тынянова!

Была уже поздняя осень, начало ноября, но солнечно, ясно. Казалось, мы едем по текинским коврам: под ногами листва всех возможных и невозможных оттенков, даже кроваво-красных.



С Тыняновым ездили в Шуамта, на родину Тициана. Вместе с Георгием Леонидзе и Тицианом Юри Николаеви- лаевич поднялся на гору святого Давида, к могиле Грибоедова. Он долго стоял возле ограды молча и на его глазах — уверял меня Тициан — были слезы.

Писатели собирались у нас почти каждый вечер. Тициан много рассказывал про Шамиля, о котором хотел написать роман, читал собранные им материалы. Тынянов делился найденными им интересными сведениями о жизни Пушкина, говорил о своих новых замыслах. Вечера проходили весело и интересно. Были не только серьезные разговоры. Очень оживлял эти встречи писатель Сергей Давидович Клднашвили, который то представлял очень забавно отца Гамлета или итальянского нищего, то танцевал... умирающего лебедя. Тынянов потом вспоминал об этом в письме к Тициану.

Вскоре после отъезда Тынянова в Ленинград Тициан писал:

«10 декабря 1933 г.

Тифлис.

Дорогой Юрий Николаевич!

Николай Тихонов и Ольга Форш расскажут Вам о месяце, проведенном в Тифлисе. Мы с Борисом Леонидовичем особенно сожалели, что Вас тут не было...

Нам посчастливилось, что Вы раньше приезжали, и удалось в спокойной обстановке сдружиться и сговориться, а нам и влюбиться.

Мои друзья с нетерпением ждут, что Вы сдержите слово и летом приедете к нам. По всей вероятности, и Пастернак лето проведет в Грузии.

С приездом делегации русских писателей наладилось большое дело, об этом, по всей вероятности, Вам расскажут, но Ваше предложение устроить в «Библиотеке поэта» грузинских романтиков у нас считается самым важным событием¹. Не спешил ответить только потому, что хотелось, чтобы это

¹ Подразумевалась изданная в 1940 году «Советским писателем» в серии «Библиотека поэта» книга «Грузинские романтики» (А. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, Г. Орбелиани, В. Орбелиани в переводе русских поэтов, под редакцией Н. С. Тихонова и Ю. Н. Тынянова).

издание было увязано с общим планом переводов, разработанным бригадой, и официально оформлено. На днях вопрос об издании грузинских романтиков в «Библиотеке поэта» будет стоять в коллегии Наркомпроса и Вы получите протокол заседания с исчерпывающим ответом на все интересующие Вас организационные вопросы.

Вас многое связывает с Грузией, но этот почин нас еще больше обязывает благодарить за сердечную дружбу..

Очень просим не забывать нас и порадовать письмом.

Обнимаю и крепко целую.

Ваш Тициан».

«Ленинград. 17.II.34.

Дорогой Тициан!

Очень рад, что Вы с Ниной Александровной скоро у нас будете, и с нетерпением Вас поджидаем. О бумаге, которую Вы мне прислали, уже сообщал в издательстве и «Библиотеке поэта». Все с радостью ее приняли и приложат все старания, чтобы издать настоящим образом грузинских романтиков. Смutilo всех только Ваше упоминание о том, что большая часть материала войдет в книгу, которую Вы издаете в издательстве «Советская литература». Дело в том, что и «Библиотеке поэта», и издательству хочется издать книгу своеобразную и не дублирующую другие. Придется подумать о каком-то размежевании обоих изданий.

Большое спасибо, что избрали меня членом комитета по изданию антологии. Вы знаете, как я интересуюсь грузинской поэзией и люблю ее.

А летом мы с женой как будто действительно собираемся в Грузию. С большой радостью вспоминаю о вечерах, как Сергей Давидович изображает отца Гамлета!

Сердечный мой привет Нине Александровне. Жена и дочка вас заочно знают и будут рады познакомиться. Пастернакам кланяюсь — не приедут ли они с Вами?

Обнимаю Вас, друг мой.

Ваш Юр. Т.

P. S. В самом конце месяца, числа 27 и 28, мне придется на четыре дня уехать, как устроить, чтоб это не помешало нашему свиданию?»

Спустя некоторое время мы встретились с Тыняновым на I Всесоюзном съезде писателей. Тынянов, Тициан и Бабель очень тогда сдружились и все время бывали вместе. Юрий

Николаевич вспоминал о Тбилиси, в особенности о Леле Шенгелая, которой был очарован, и говорил, что обязательно придет еще раз.

После съезда мы получили от него еще одно письмо.
«28.XII.34. Детское село.

Дорогой Тициан!

Верите — только болезнь могла помешать мне ответить Вам сразу на Ваше прекрасное письмо. Здравница, которую Вы мне прислали, так жива и хороша, что я ее вспоминаю как свою самую большую удачу или даже «достижение» за последний год. Я в Детском селе отдыхаю, гуляю каждый день, бездельничаю. Село мне нравится. Я бы и дольше здесь прожил, да нужно возвращаться.

Сабу Орбелиани получил, и как только здоровье позволит, засяду за него. Передайте мой самый сердечный дружеский привет Нине Александровне, Елене Михайловне, Сергею Давыдовичу и Нате. Ее выступление на съезде (кулуары) никогда не забуду.

Поздравляю всех с Новым годом, который совершенно неожиданно наступил, и крепко обнимаю Вас, дорогой друг.
Ваш Ю. Тынянов».

Очень теплые, дружеские встречи с Ю. Тыняновым бывали и во время наших приездов в Ленинград — на вечера грузинской поэзии, да и так просто. У него дома, в гостях, время шло быстро, интересно: Юрий Николаевич чудесно имитировал многих ленинградских писателей, в том числе Корнея Чуковского.

У Тыняновых мы встретились и познакомились с Михаилом Зощенко. Первое, что мне бросилось в глаза, это как он нюхал табак: мне он этим напомнил какую-то древнюю, доморощенную старушку. Когда я выразила удивление, Зощенко сказал, что нюхая табак он успокаивает себе нервы, что он страшный неврастеник, не выносит никакого шума и, подыскивая себе квартиру, ищет изолированные комнаты, куда бы не доносилось ни звука. И тут же рассказал один происшедший с ним случай. Ему дали квартиру, кажется, на Мойке. Он был очень рад: квартира была тихая, изолированная от шума. Все же при ремонте он принял все меры, чтобы себе обеспечить абсолютную тишину. Когда все было сделано, он, довольный, подошел к окну и — о ужас! — увидел, что напротив его окон находятся окна... родильного отделения. Ему представились (а может и не только представились!) кри-

ки женщин, плач младенцев, и он в ярости захлопнул окно. Квартира тотчас же перестала нравиться, и жизнь в ней казалась ему мучительной...

У Тыняновых мы с Тицианом познакомились и с писателем Кавериним, который был женат на сестре Юрия Николаевича.

Однажды во время нашего пребывания в Москве находившийся там же Тынянов пришел к нам вместе с Виктором Шкловским.

Тициан сказал Шкловскому:

— Как-то поздно вечером я стал читать ваш рассказ «Мать», и он произвел на меня такое сильное впечатление, что я тут же разбудил Нину и прочитал ей все — от начала до конца.

Мне тоже запомнился этот рассказ: о матери и ее двух дочерях. Мать только что умерла. Одна дочь пошла взять у врача свидетельство о смерти, а другая, испугавшись остаться вдвоем с покойницей, захлопнула дверь и пошла к соседке. Врач между тем сам вспомнил, что не дал свидетельство сестрам, и вернулся. Он звонил, звонил — столько времени, что дверь открыла... сама покойница!

Тынянов, помню, заметил, что этот случай как будто не выдуман, и тогда Виктор Шкловский сказал, что описанное произошло с его собственной матерью: она так привыкла заботиться обо всех, что уже после клинической смерти звонок дошел до ее еще не совсем угасшего сознания и поднял ее на ноги. После этого случая мать Шкловского прожила еще пять лет под наблюдением врачей.

Тициан сказал, что рассказ производит такое большое впечатление потому, что он очень жизненный.

— У Нины, например, точно такая же мать.

Вторично Юрий Николаевич Тынянов приехал в Грузию с женой и дочерью. Некоторое время они жили в Тбилиси, а потом мы с Тицианом повезли их в Боржоми. Там им очень понравилось, и они решили провести в Боржоми все лето. Тынянов сблизился там со многими грузинскими семьями, в том числе с музыковедом Нико Чигогидзе и его женой Ниной Козьминской, известной виолончелисткой.

Как член бригады Оргкомитета, Юрий Николаевич Тынянов сделал очень многое для ознакомления русского читателя с грузинской литературой.

Он перевел на русский язык «Мудрость лжи» Сулхана-Саба Орбелиани. Помогала ему Лолота Вирсаладзе. Когда мы уезжали из Ленинграда, Лолота прибежала на вокзал: Тициан уже из отходящего вагона крикнул:

— Юрий Николаевич, познакомьтесь, это фольклористка, Лолота Вирсаладзе, красивая, умная, она вам поможет.

И правда, в работе над Сулханом-Саба Орбелиани Лолота очень ему помогла.

Выступая на вечере в Ленинграде 21 марта 1937 года, Тициан говорил:¹

— Мы никогда не забудем того, что Юрий Николаевич Тынянов, который был связан своими романами с Грузией, в «Смерти Вазир-Мухтара» и «Кюхле» дал ощущение колорита Грузии, он сделал то, что лучший представитель грузинской литературы — Сулхан-Саба Орбелиани — один из лучших грузинских писателей XVIII века, а может быть, и вообще на Востоке, человек, который был посланником при Людовике XIV, «Короле-Солнце», когда «Солнце» уже закатилось, который умер и похоронен в Москве, автор книги «Мудрость лжи», — скоро будет известен всему Советскому Союзу. Эту книгу на русском языке редактировал Юрий Тынянов. В свое время царевичи не могли даже надгробный камень поставить на могиле великого писателя, и эта могила затерялась; сейчас Сулхан-Саба Орбелиани станет известен Советскому Союзу, он этого, конечно, заслуживает.

Кроме того, товарищи, нужно сказать, что тут, в Ленинграде, издается книга грузинских романтиков, четырех замечательных поэтов Грузии: Александра Чавчавадзе, Григория Орбелиани, Николоза Бараташвили, Вахтанга Орбелиани. Эту книгу редактируют Юрий Николаевич и Николай Семенович Тихонов, и я уверен, что эта книга будет замечательной.

На том же вечере говорил о своем отношении к Тициану и его поэзии Тынянов:

— Вот когда я жалею настоящим образом, что я не поэт, что у меня нет стихов. Я бы написал послание и посвятил его Тициану Табидзе. Вот когда я жалею, что не обладаю его искусством, замечательным искусством.

Когда я слушал стихи Тициана, его чтение (и сожалел

¹ От редакции: Все стенографические записи выступлений хранятся в Литературном музее им. Г. Леонидзе.

нию, не знаю его языка), я как бы находился у настоящих корней искусства, я понимал его.

Я видел Тициана в Тифлисе, и я никогда этого не забуду. Я понял, как рождается его поэзия. Это замечательная поэзия, которая нас приближает к Грузии и которая Грузию приближает к нам. Я понял Тифлис — это один из нескольких замечательных городов, и он весь полон истории...

И надо сказать, что Тициан ходит по Тифлису, как ходит человек по своей комнате. Он в своих предстиховых ощущениях (а у него, по-видимому, такие ощущения всегда наличествуют) историчен. У него история — не есть книга, поставленная на полку, нет, история в нем и с ним, он ее чувствует, и поэтому он так открыт для нас, для русского искусства, для русской поэзии, которую он любит и понимает.

И вот, когда я был с ним, все обретало свой исторический смысл. И наш день, советский день, — на нем был свет истории. Этот советский день был заданным многовековой историей. И пусть не говорит Тициан, что я задумал книги, о которых он упоминал и принимать участие в которых я считаю великой честью. Конечно, эти книги задумал он. Конечно, эти книги родились в разговоре, в разговоре его — живого настоящего поэта, который так же поэтичен, как его стихи, которые мы слушаем, как его замечательное чтение — дар, которым может обладать только настоящий поэт.

И если сейчас имена Сулхана-Саба Орбелиани — великого прозаика Грузии — и замечательных грузинских поэтов-романтиков открыты для восприятия русского искусства и в устах советского читателя начинают звучать как имена своих поэтов, то в этом огромная заслуга Тициана, и я его приветствую как поэта, как замечательного человека, как друга, как нашего друга!

Тынянов понял Тициана правильно. История была подлинной основой его творчества, он от истории шел к современности, и поэтому современность чувствовал особенно остро и глубоко. Многие нити связывали его с жизнью страны, с искусством. Кажется, нет такого вопроса, которого он не касался бы, о котором бы не писал. О творчестве старых писателей, которых надо издать, о музыке и композиторах, о художниках, режиссерах и артистах, о строительстве — и во все он вкладывал свое сердце... И кто бы ни обратился к нему, будь то русский, армянин, азербайджанец, лезгин или иностранец, он с каждым находил общий язык и каждому с таким воодушевлением говорил об истории Грузии, о совре-

менной Грузии, расцветающей после всех страданий, что слушатели его невольно становились друзьями Грузии навсегда, становились его друзьями и друзьями его народа.

Его интересуют и другие республики: Армения, Узбекистан, Азербайджан, Осетия. Он всюду ездит и приезжает обратно очарованный теми делами, что делается повсюду. Он умел видеть, умел восхищаться увиденным. Это чувствуется даже в коротком письме на обороте открытки, посланной им с дороги.

«Дорогая Нина!

Вчера приехал в Самарканд. Ты себе не можешь представить, что это за сказочный город — весь в мечетях. На этой открытке — гробница Тамерлана, от которой бросает в дрожь. Хожу по городу и ищу твоего брата Мишу, но не могу напасть на его след. Целую крепко тебя и Ниту. Маме и Иосепу мой привет.

Твой Тициан.

(Апрель 1934 г.)»

А как любил Тициан молодежь! В этом была его жизнь. Он ходил на вечера молодых поэтов, рассказывал им о вновь прочитанных книгах, говорил о проблемах литературы, внушал, что вне общественного развития поэзия мелка и однообразна. Молодежь часто приходила к нему домой, и тогда он доставал с полки книги, читал стихи, вычитывал из прозы особо интересные для них места. Он мог до утра сидеть с молодыми поэтами, беседовать с ними...

А. А. ФАДЕЕВ

С Александром Александровичем Фадеевым мы с Тицианом познакомились в Москве.

В один из наших приездов в столицу нас встретили на вокзале друзья; они отвезли нас в Дом творчества, расположенный в Нескучном саду, где нам и приехавшему вместе с нами из Тбилиси писателю Николаю Мицишвили с женой были отведены комнаты. Вскоре на товарищеский ужин, устроенный в честь нашего приезда, собрались в Дом творчества многие представители московской литературной общественности. Среди них были А. Фадеев, Б. Пастернак, Л. Леонов, П. Антокольский и другие.

Ужин прошел очень оживленно, в теплой дружеской обстановке.

Мне запомнилось, как Фадеев, Леонов и Зуев пели северные песни. Они вкладывали в исполнение их столько душевности, мягкости, лиризма, что я до сих пор не могу забыть этого пения.

Александр Фадеев был человеком большого обаяния, с запоминающейся внешностью: очень высокого роста, волосы с проседью; совершенно не соответствовал внешности тонкий голос.

Фадеев тепло и по-дружески относился к Тициану. В каждый наш приезд в Москву он непременно встречался с нами. Часто он и Тициан беседовали о поэзии — русской, грузинской.

Александр Александрович хорошо знал поэзию, любил ее и многие стихи читал наизусть.

В кармане он постоянно носил стихотворение Н. Бараташвили «Синий цвет», переведенное на русский язык Б. Пастернаком. Эти стихи ему очень нравились, и при каждом удобном случае он декламировал:

**Цвет небесный, синий цвет,
Полубил я с малых лет...**

Когда в марте-апреле 1937 года началась подготовка к творческому вечеру Тициана, Фадеев принимал в ней самое активное участие, стараясь, чтобы вечер прошел хорошо.

Выступая на этом вечере, он говорил:

— Товарищи, я думаю, что мы можем поздравить Тициана Табидзе с очень хорошим вечером. Я думаю, что каждый из нас, пишущих людей, жил один раз в год таким вечером. Это дает ему большой стимул к работе. Но этот вечер становится символическим и очень удачным благодаря самому Тициану Табидзе. Поэзия Тициана Табидзе известна не только в Грузии — Тициан Табидзе и наш, русский поэт, и он представляет одну из действительно поэтических стран с очень большими поэтическими традициями в созвездии наших народов, и поэтому вечер его превратился в вечер братских народов. Но он превратился также в вечер интернациональной поэзии. На этот вечер пришли представители испанского народа и тоже поэты. Капитализм обеднил мир. Только подумать, какое количество талантов, истинных талантов и народов творят великое искусство. Эти сильные народы не чувствовали себя рядом с великодержавной русской нацией. Теперь мы видим, сколько талантов мы раскрепостили. И сейчас, если поедешь в любой уголок нашей стра-

ны, то видишь, как, например, в Абхазии: человек, который известен за пределами своего народа, такой человек, как, например, абхазский Леонардо да Винчи — старик Гулия является и доктором, и поэтом, и человеком других профессий. И вот, когда фольклорист привозит фольклор, старик Гулия говорит: «Позвольте, как же, какой же это фольклор. Это же я написал...» Возьмите всех поэтов всех национальностей, все фольклоры, и музыку, и танцы — это означает, что мы подняли такую народную силу, которая обогатила и украсила весь мир. Поэтому я чрезвычайно рад этому вечеру, который у нас сейчас проходит, и от души и от лица всех русских товарищей поздравляю Тициана Табидзе за тот успех, которого он добился своими прекрасными стихами.

О К. А. ФЕДИНЕ

В дни первого съезда советских писателей мы с дочерью Нитой приехали из Ленинграда в Москву.

Вечером мы с Тицианом пошли в бывшее кафе Филиппова, отведенное для делегатов съезда. Не успели мы войти, как Борис Пастернак воскликнул на весь зал:

— Костя, вот супруга Тициана и родственница Нины Грибодовой.

Красивый мужчина с необычайно большими голубыми глазами тотчас же встал и подошел к нам; он был изысканно вежлив (как я потом узнала, его называли «советский Тургенев»).

Вскоре после этого я снова встретилась с ним на вечере у Б. Пильняка, где были также Анна Ахматова и Кира Андроникова, сестра Наты Вачнадзе, жена Пильняка. Хозяева необычайно радушно принимали гостей. Это был чудесный вечер: Анна Андреевна читала свои стихи, оживленно беседовали о кахетинских стихах Н. Тихонова.

Провожая меня домой, Константин Александрович сказал, что скоро будет в Грузии.

Осенью того же года я, возвращаясь домой, встретилась с кем-то из знакомых. Мне сказали, что в вестибюле Союза писателей стоит и читает газету Константин Федин и что, видимо, он там никого не знает. Я тотчас же пошла в Союз писателей. Константин Александрович очень обрадовался, увидев меня. Он оказался в Тбилиси проездом.

На улице мы встретились с Паоло Яшвили и Еленой

Михайловной Шенгелая. Было принято решение — пойти в ресторан и пообедать.

После обеда пошли к нам домой.

Тициан, который был болен и никуда не выходил, очень обрадовался встрече с Константином Фединым. Они стали вспоминать общих знакомых. Тициан интересовался литературными делами Москвы, Константин Александрович — Грузии. Потом речь зашла о поэзии, об истории Грузии.

Время за разговорами прошло очень быстро, и К. Федину уже было пора ехать на вокзал. Мы взяли машину. Так как до отхода поезда оставались считанные минуты, шофер по нашей просьбе ехал очень быстро и, не рассчитав в одном месте поворота, натолкнулся на столб: раздался звон разбитого переднего стекла. К счастью, мы отделались только испугом и на вокзал прибыли вовремя.

В 1936 году, оставив Тициана в Москве, где его удерживали дела, я поехала на несколько дней в Ленинград. Там я зашла к Фединым. Константин Александрович и его супруга Дора Сергеевна оказались необычайно гостеприимными. Константин Александрович возил меня по Ленинграду, показывая город, знакомил с окрестностями: мы ездили в Детское, Павловское, Пушкино.

Николай Тихонов, вместе с которым я приехала в Ленинград, сообщил о моем приезде Юрию Тынянову и Бенедикту Лифшицу. Они бросились меня разыскивать и в конце концов нашли у Федина, оказывается, они получили из Москвы телеграмму от Тициана: «Где Нина». (Перед отъездом в Ленинград я еще заезжала в Переделкино, к Пастернакам, и Тициан меня потерял!).

Продолжение следует



ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

В БОЛЬШОМ зале Грузинской государственной филармонии состоялся вечер поэзии, который вел поэт Джансуг Чарквиани.

Поэты читали стихи о любви — что и было главным мотивом этого весеннего вечера. Любви к родной земле, своему народу, прошлому и настоящему Родины были посвящены стихи поэтов Грузии.

На вечере со своими стихами выступили Гиви Гегечкори, Эмзар Квитаишвили, Реваз Амашукели, Джансуг Чарквиани. Две миниатюры по грузинским народным мотивам прочел Реваз Инанишвили.

В вечере приняли участие мужской квартет Грузгосфилармонии и женский квартет «Таигули».

«ВИТЯЗЬ» НА ФРАНЦУЗСКОМ

ФРАНЦУЗСКОЕ издательство «Ла культур ор коммерс» выпустило в свет гениальную псэму Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре» в переводе парижского писателя и публициста Георгия Гвазавы.

Это уже второе издание перевода, которое пополнилось иллюстрациями народного художника Грузинской ССР Серго Кобуладзе.

Книга переиздана сыном переводчика, известным французским картвелологом Г. Гвазавы.

На I стр. обложки: репродукция с картины З. Нижарадзе «Победили».

Сдано в набор 19.III.84 г. Подписано к печати 11.V.84 г. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. УЭ 08831. Тираж 6.100 экз. Заказ 682. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к

64/75

ИНДЕКС 76117

04035740
8020110333

Содержание

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание

Содержание

Содержание

Содержание

